

МИРЫ М. и С. ДЯЧЕНКО

МАРИНА И СЕРГЕЙ
ДЯЧЕНКО

ПРЕЕМНИК

Ф Э Н Т Е З И



ЭКСМО

Скитальцы

Марина и Сергей Дяченко

Преемник

«Автор»

1997

Дяченко М.

Преимник / М. Дяченко — «Автор», 1997 — (Скитальцы)

Таинственная Третья Сила, дождавшись своего часа, вновь ищет Привратника, который открыл бы ей двери в нашу реальность. На сей раз ее избранником становится Луар Соль, отверженный, исполненный горечи и обиды на весь мир. Ареной последней битвы становится душа Человека... Вместе с героями романа `Преимник`, третьего в тетралогии Марины и Сергея Дяченко, читателю предстоит пройти долгий путь, полный побед, поражений и неожиданных открытий.

© Дяченко М., 1997

© Автор, 1997

Содержание

Пролог	6
Глава первая	7
Глава вторая	37
Конец ознакомительного фрагмента.	55

Марина и Сергей Дяченко Преимник

*** * ***

Пролог

Мальчик сидел за сундуком, где пахло пылью. Портьеры, прикрывавшие окно, поднимались над ним, как массивные пыльные колонны; в луче солнца кружилась, растерявшись, белесая бабочка-моль.

За окном бряцало железо и топотали копыта. За окном говорили «враги» и говорили «война»; здесь, в доме, были отец и мать, домашние и надежные, как эти столбы солнца, подпирающие потолок...

Но старика он боялся. Старик был чужим и непонятным; в его присутствии даже родные люди казались не такими, как прежде. Мать и отец не обращали на сына внимания – будто старик был тучей, заслонившей от мальчика солнце. Они тоже боятся старика – зачем же отдавать ему ЭТО?!

Мальчик плакал и слизывал слезы. Та вещь... Та замечательная вещь. Неужели ее больше не будет? И не будет праздников, когда, вытащив ее из шкапулки, мама позволит ему – в награду за что-нибудь – одним только пальцем ПРИКОСНУТЬСЯ? И смотреть, смотреть, и следить за солнечным зайчиком на потолке...

Они говорили – что-то о ржавом пятнышке, которого, кажется, все-таки нет. И еще о войне; мальчик представил себе целый лес копий, узкие флаги, раздвоенные, как змеиные языки... Очень много красивых всадников, и приятно пахнет порохом... И его отец всех победит.

Но почему старик только молчит и кивает?!

Мокрым от слез пальцем мальчик рисовал на сундуке злые рожицы. Его ругали, когда он рисовал злых. А теперь он с особым удовольствием выводил косые, с опущенными уголками рты и нахмуренные брови: ну и отдавайте... ну и пусть...

А потом золотая вещь блеснула на чужой ладони, на длинной ладони старика; тогда мальчик не выдержал, с ревом выскочил из своего укрытия, желая выхватить игрушку и не в силах поверить, что на этот раз его каприз окажется неутоленным...

– Луар!!

На щеках матери выступили красные пятна; что-то строго говорил отец – но мальчик и сам уже пожалел о своем порыве. Потому что старик посмотрел на него в упор – долгим, пронзительным, изучающим взглядом. Странно еще, как штанишки остались сухими.

По дну прозрачных, будто стеклянных глаз пробежала тень; кожистые веки без ресниц мигнули. Мальчик съежился; старик перевел взгляд на его мать:

– Вы назвали его в честь Луаяна?

За окном грохотали кованые сапоги, и грозный голос выкрикивал что-то решительное и командирское. Старик вздохнул:

– Когда один камень срывается с вершины... Всегда остается надежда, что он угодит в яму. И лавины не будет. Мы надеемся. Всегда.

Мальчик всхлипывал и тер кулаками глаза, и цеплялся за рукав отцовской куртки – а потому не видел, как удивленно переглянулись его родители.

Старик печально усмехнулся:

– Твое семейство по-прежнему мечено, Солль. Судьбой.

Мать испугано вскинула глаза; отец молчал и держался за щеку, будто бы мучаясь зубной болью. Старик кивнул:

– Впрочем... Ничего. Ерунда. Забудьте, что я сказал.

Лишь когда за старцем закрылась дверь, к чувству утраты прибавилось еще и облегчение.

Теплая ладонь, в которой целиком тонет его рука. У тебя будет много других игрушек. Не грусти, Денек.

Глава первая

* * *

...Мы успели-таки! Счастье, что городские ворота захлопнулись за нашими спинами – а могли ведь и перед носом, недаром Флобастер орал и ругался всю дорогу. Мы опаздывали, потому что еще на рассвете сломалась ось, а ось сломалась потому, что сонный Муха проглядел ухаб на дороге, а сонный он был оттого, что Флобастер, не жалея факелов, репетировал чуть не до утра... Пришлось завернуть в кузницу, Флобастер охрип, торгуясь с кузнецом, потом плюнул, заплатил и еще раз поколотил Муху.

Конечно же, под вечер ни у кого не осталось сил радоваться, что вот мы успели, вот мы в городе, и здесь уже праздник, толкотня, а то ли еще будет завтра... Никто из наших и головы не поднял, чтобы полюбоваться высокими крышами с золотыми флюгерами – только Муха, которому все нипочем, то и дело разевал навстречу диковинам свой круглый маленький рот.

Главная площадь оказалась сплошь уставлена повозками и палатками расторопных конкурентов – в суровой борьбе нам достался уголок, едва вместивший три наши тележки. Слева от нас оказался бродячий цирк, где в клетке под открытым небом уныло взреывал заморенный медведь; справа расположились кукольники, из их раскрытых сундуков жутковато торчали деревянные ноги огромных марионеток. Напротив стояли лагерем давние наши знакомые, комедианты с побережья – нам случалось встречать их на нескольких ярмарках, и тогда они отбили у нас изрядное количество монет. Южане полным ходом сколачивали подмостки; Флобастер помрачнел. Я отошла в сторону, чтобы тихонечко фыркнуть: ха-ха, неужто старик рассчитывал быть здесь первым и единственным? Ясно же, что на День Премноголикования сюда является кто угодно и из самых далеких далей – благо, условие только одно.

Очень простое и очень странное условие. Первая сценка программы должна изображать усекновение головы – кому угодно и как угодно. Странные вкусы у господ горожан, возьмите хоть эту потешную куклу на виселице, ту, что украшает собой здание суда...

Праздник начался прямо на рассвете.

Даже мы маленько ошалели – а мы ведь странствующие актеры, а не сборище деревенских сироток, случались на нашем веку и праздники и карнавалы. Богат был город, богат и доволен собой – ливрейные лакеи чуть не лопались от гордости на запятках золоченых карет, лоточники едва держались на ногах под грузом роскошных, дорогих, редкостных товаров; горожане, облаченные в лучшие свои наряды, плясали тут же на площади под приبلудные скрипки и бубны, и даже бродячие собаки казались ухоженными и не лишенными высокомерия. Жонглеры перебрасывались горящими факелами, на звенящих от напряжения, натянутых высоко в небе канатах танцевали канатоходцы – их было столько, что, спустившись вниз, они вполне могли бы основать маленькую деревню. Кто-то в аспидно-черном трико вертелся в сети натянутых веревок, похожий одновременно на паука и на муху (Муха, кстати, не преминул стянуть что-то с лотка и похвастаться Флобастеру – тот долго драл его за ухо, показывая на мелькавших тут и там в толпе красно-белых стражников).

Потом пришел наш черед.

Первыми вступили в бой марионетки – им-то проще простого показать усекновение головы, они сыграли какой-то короткий бессмысленный фарс, и голова слетела с героя, как пробка слетает с бутылки теплого шипучего вина. Худая, голодного вида девчонка обошла толпу с шапкой – давали мало. Не понравилось, видать.

Потом рядом заревел медведь; здоровенный громила в ярком, цвета сырого мяса трико вертел над головой маленького, будто резинового парнишку, и под конец сделал вид, что открывает ему голову; в нужный момент парнишка сложился пополам, и мне на мгновение сделалось жутко – а кто их знает, этих циркачей...

Но парнишка раскланялся, как ни в чем не бывало; медведь, похожий на старую собаку, с отвращением прошелся на задних лапах, и в протянутую шляпу немедленно посыпались монеты.

Южане уступили нам очередь, махнув Флобастеру рукой: начинайте, мол.

Ко Дню Премноголикования мы готовили «Игру о храбром Оллале и несчастной Розе». Несчастную Розу играла, конечно, не я, а Гезина; ей полагалось произнести большой монолог, обращенный к ее возлюбленному Оллалу, и сразу же вслед за этим оплакать его кончину, потому что на сцену являлся палач в красном балахоне и отрубал герою голову. Пьесу написал Флобастер, но я никак не решалась спросить его: а за что, собственно, страдает благородный Оллаль?

Оллаль играл Бариан; он тянул в нашей труппе всех героев-любовников, но это было не совсем его амплуа, он и не молод к тому же... Флобастер мрачно обещал ему скорый переход на роли благородных отцов – но кто же, спрашивается, будет из пьесы в пьесу вздыхать о Гезине? Муха – вот кто настоящий герой-любовник, но ему только пятнадцать, и он Гезине по плечо...

Я смотрела из-за занавески, как прекрасная Роза, живописно разметав по доскам сцены подол платья и распущенные волосы, жалуется Оллалу и публике на жестокость свирепой судьбы. Красавица Гезина, пышногрудая и тонкая, с чистым розовым личиком и голубыми глазками фарфоровой куклы пользовалась неизменным успехом у публики – между тем все ее актерское умение колебалось между романтическими вскриками и жалостливым хныканьем. Что ж, а больше и не надо – особенно, если в сцене смерти возлюбленного удается выдавить две-три слезы.

Именно эти две слезы и блестели сейчас у Гезины на ресницах; публика притихла.

За кулисами послышались тяжелые шаги палача – Флобастер, облаченный в свой балахон, нарочно топал как можно громче. Благородный Оллаль положил голову на плаху; палач покрасовался немного, пугая прекрасную Розу огромным иззубренным топором, потом длинно замахнулся и опустил свое оружие рядом с головой Бариана.

По замыслу Флобастера плаха была прикрыта шторкой – так, что зритель видел только плечи казнимого и замах палача. Потом кто-нибудь – и этот кто-нибудь была я – подавал в прорезь занавески отрубленную голову.

Ах, что это была за голова! Флобастер долго и любовно лепил ее из папье-маше. Голова была вполне похожа на Бариана, только вся сине-красная, в потеках крови и с черным обрубок шеи; ужас, а не голова. Когда палач-Флобастер сдергивал платок с лежащего на подносе предмета, брал голову за волосы-паклю и показывал зрителю, кое-кто из дам мог и в обморок грохнуться. Флобастер очень гордился этой своей придумкой.

Итак, Флобастер взмахнул топором, а я изготовилась подавать ему поднос с головой несчастного Оллала; и надо же было случиться так, что в это самое мгновение на глаза мне попался реквизит, приготовленный для фарса о жадной пастушке.

Большой капустный кочан.

Светлое небо, ну зачем я это сделала?!

Будто дернул меня кто-то. Отложив в сторону ужасную голову из папье-маше, я пристроила кочан на подносе и набросила сверху платок. Прекрасная Роза рыдала, закрыв лицо руками; видимое зрителю тело Бариана несколько раз дернулось и затихло.

Палач наклонился над плахой – и я увидела протянутую руку Флобастера. Менять что-либо было уже поздно; я подала ему поднос.

Какая это была минута! Меня рвали надвое два одинаково сильных чувства – страх перед кнутом Флобастера и жажда увидеть то, что случится сейчас на сцене... Нет, второе чувство было, пожалуй, сильнее. Трепеща, я прильнула к занавеске.

Прекрасная Роза рыдала. Палач продемонстрировал ей поднос, строго посмотрел на публику... и сдернул платок.

Светлое небо.

Такой тишины эта площадь, пожалуй, не помнила со дня своего основания. Вслед за тишиной грянул хохот, от которого взвились с флюгеров стаи ко всему привычных городских голубей.

Лица Флобастера не видел никто – оно было скрыто красной маской палача. На это я, признаться, и рассчитывала.

Прекрасная Роза раскрыла свой прекрасный рот до размеров, позволяющих не крупной вороне свободно полетать взад-вперед. На лице ее застыло такое неподдельное, такое искреннее, такое обиженное удивление, которого посредственная актриса Гезина не могла бы сыграть никогда в жизни. Толпа выла от хохота; из всех шатров и балаганчиков высунулись настороженные лица конкурентов: что, собственно, случилось с привередливой, ко всему привычной городской публикой?

И тогда Флобастер сделал единственно возможное: ухватил капусту за кочерыжку и патетически воздел над головой.

...Едва выбравшись за занавеску, Гезина вцепилась мне в волосы:

– Это ты сделала? Ты сделала? Ты сделала?!

Флобастер медленно стянул с себя накидку палача; лицо его оказалось вполне бесстрастным.

– Мастер Фло, это она сделала! Танталь сорвала мне сцену! Она сорвала нам пьесу! Она...

– Тихо, Гезина, – уронил Флобастер.

Явился сияющий Муха – тарелка для денег была полна, монетки лежали горкой, и среди них то и дело поблескивало серебро.

– Тихо, Гезина, – сказал Флобастер. – Я ей велел.

Тут пришел мой черед поддерживать челюсть.

– Да? – без удивления переспросил Бариан. – То-то я гляжу, мне понравилось... Неожиданно как-то... И публике понравилось, да, Муха?

Гезина покраснела до слез, фыркнула и ушла. Мне стало жаль ее – наверное, не стоило так шутить. Она слишком серьезная, Гезина... Теперь будет долго дуться.

– Пойдем, – сказал мне Флобастер.

Когда за нами опустился полог повозки, он крепко взял меня за ухо и что есть силы крутанул.

Бедный Муха, если такое с ним проделывают через день! У меня в глазах потемнело от боли, а когда я снова увидела Флобастера, то оказалось, что я смотрю на него через пелену слез.

– Ты думаешь, тебе все позволено? – спросил мой мучитель и снова потянулся к моему несчастному уху. Я взвизгнула и отскочила.

– Только попробуй, – пообещал он сквозь зубы. – Попробуй еще раз... Всю шкуру спущу.

– Зрителям же понравилось! – захныкала я, глотая слезы. – И сборы больше, чем...

Он шагнул ко мне – я замолчала, вжавшись спиной в брезентовую стенку.

Он взял меня за другое ухо – я зажмурилась. Он подержал его, будто раздумывая; потом отпустил:

– Будешь фиглярничать – продам в цирк.

Он ушел, а я подумала: легко отделалась. За такое можно и кнутом...

Впрочем, Флобастер никогда бы не простил мне этой выходки, если б не маска, спрятавшая ото всех его удивленно выпученные глаза.

* * *

Хозяин трактира «У землеройки» был от природы молчалив.

Хозяин трактира был памятьлив; он знал, какое вино предпочитает сегодняшней его посетитель, – впрочем, что тут необычного, ведь посетитель – столь известная и уважаемая в городе личность...

Хозяин трактира понимал, что в этот день посетитель хочет остаться незамеченным; с раннего утра его дождался столик, отгороженный ширмой от праздничного трактирного многолюдья.

Вот уже несколько лет подряд известный в городе человек приходил сюда и садился за этот одинокий столик, чтобы неторопливо выпить свой стакан изысканного напитка.

И хозяин, несколько лет наблюдавший за этим своеобразным ритуалом, прекрасно знал, что будет дальше.

Когда стакан уважаемого посетителя пустел примерно наполовину, в дверях появлялась тощая долговязая фигура; некий незнакомец склонял голову перед дверной притолокой – иначе ему было не пройти – и окидывал трактир вполне равнодушным взглядом. Незнакомец был сухой, как вобла, прозрачноглазый старик; кивнув трактирщику, он всякий раз направлялся прямо к столику за перегородкой. Трактирщик помнил, какое вино предпочитает незнакомец – вкусы старика несколько отличались от вкусов его сотрапезника.

Трактирщик готов был поклясться, что эти двое никогда не разговаривают. Уважаемый в городе человек в молчании допивал свои полстакана; старик, чуть пригубив свое вино, поднимался и уходил. Человек за одиноким столиком заказывал себе еще стакан и добрую закуску; если перед тем он казался веселым и напряженным, то теперь хозяин ловил в его глазах облегчение – и одновременно некое разочарование. Щедро заплатив, уважаемый горожанин покидал трактир, кивнув трактирщику на прощанье.

Хозяин «Землеройки» прекрасно знал, какое неизгладимое впечатление оказал бы на соседей рассказ об этих странных событиях, повторяющихся из года в год – и всегда в День Премноголикования. Хозяин знал это и предвидел восторг всеведущих кумушек – но был молчалив от природы. А возможно, нечто, непостижимое тонким умом трактирщика, повелевало ему молчать.

* * *

... Тем временем праздник шел своим чередом.

Наши соперники-южане представили почтеннейшей публике большую и помпезную пьесу – перед началом было объявлено, что все увидят «Историю Ордена Лаш». Толпа перед нашими подмостками постепенно переметнулась к сцене напротив – мы тоже выглянули, чтобы поглазеть.

«История» начиналась с отрубания головы большой тряпичной кукле – а голова-то, с позволения сказать, была на пуговицах, как воротничок. Потом являлось священное привидение Лаш – здоровенный парень на ходулях, до бровей завернутый в серый плащ. Край плаща по задумке автора был изъеден червями; для того, чтобы зритель подумал именно о сырой могиле, а не о сундуке с молью, к подолу были пришиты несколько жирных дождевых червяков – светлое небо, живых и бодрых, будто привидение собралось на рыбалку...

Публика, однако, была поражена. Дети завизжали от страха, священное привидение завыло, как майский кот, – право же, что значит идти на поводу у зрителя! Если священное привидение действительно так выглядело – откуда же у него взялись последователи?

Не успела я об этом подумать – и на тебе, вот и служители Ордена Лаш на сцене появились! Целых четверо, ибо у южан большая труппа; спереди они выглядели как чучела в капюшонах, а сзади на каждом было нарисовано по скелету – это аллегорически объясняло, что братья Лаш на самом деле сеют смерть. Публика зааплодировала, – говорят, среди горожан полно еще свидетелей Мора, того самого, что девятнадцать лет назад сожрал половину жителей округи; того самого Мора, который, по слухам, и вызван был служителями Лаш...

Меня, по счастью, тогда и на свете не было; моя худая и бледная мать любила рассказывать, каким мощным, богатым и знатным был наш род. Мор расправился с ним за несколько дней: мой дед и бабушка, а также дядья, тетки, кузены и кузины достались одной огромной могиле, их дом огню, а имущество – мародерам. Из всей семьи уцелели только моя мать и ее младший брат; остатки огромного состояния таяли на протяжении десяти лет, мое детство прошло в огромной пустой комнате, где было полно породистых собак и редкостных, в беспорядке разбросанных книг...

После смерти матери дядюшка заточил меня в приют. Из приюта меня вызволил Флобастер.

...Флобастер шумно дышал у меня над ухом – ясно, что южане имеют успех и нам придется здорово посопеть, чтобы переманить к себе глупую публику.

«История Ордена Лаш» завершилась ко всеобщему удовольствию – розовощекая дамочка, изображавшая Справедливость, повергла «братьев Лаш» в ловко откинутый люк, откуда они еще долго стонали и жаловались. Публика хлопала как бешеная – Флобастер сделал кислое лицо и зашипел на Муху, когда тот попытался хлопнуть тоже.

Мы не начинали еще с полчаса, потому что совсем рядом случился поединок барабанщиков. Оба были по уши обвешаны своими инструментами – да еще тут же помещался прямо на земле барабан-чудовище размером с колодезный сруб. Грохот стоял – уши затыкай; толпа подхлопывала да подсвистывала, бедняги лезли из кожи вон, их барабаны ревели и плакали – и все же ни один не мог перещеголять другого. Наконец, хозяин чудовища вскочил на него ногами, заколотил что есть мочи, запрыгал, будто ему пятки жжет, сорвал шквал аплодисментов – и сразу же с треском провалился вовнутрь, в барабан. На том поединок закончился.

Настало наше время – и на суд зрителей была представлена «Игра о принцессе и единороге».

Мне нравилась эта пьеса. Флобастер перекупил ее у какого-то бродячего сочинителя; в ней говорилось о принцессе (Гезина), полюбившей бедного юношу (Бариан), а злой колдун возьми да и преврати возлюбленного в единорога. Правда, как по мне, если уж колдун злой-таки, то не станет он в благородных единорогов превращать! Он чего-нибудь попротивнее найдет – ведро помойное или башмак дырявый... Правда, попробуй сыграй потом пьесу, где героя превращают в поганое ведро...

Мага играл Фантин – наш вечный злодей. Он как никто умеет страшно хмурить брови, кривить рот и зловеще растягивать слова; справедливости ради следует сказать, что больше он решительно ничего и не умеет. Он добрый и глупый, наш Фантин. На таких воду возят.

Бариан и Гезина пели дуэтом – у Гезины тонкий, серебряный голосок, от него сходят с ума не только купцы на ярмарках, но даже знатные господа... Правда, Гезина ни поцелуя не допустит без «истой любви». На моей памяти таких «любовей» было шесть или семь.

Спектакль шел ни шатко ни валко; ближе к финалу публика заскучала. Немножко поправила дело сцена превращения – Муха что есть сил колотил в медный таз, Флобастер потрясал листом жести, а Бариан корчился в клубах дыма (это я подожгла под помостом пучок мокрой соломы). И все равно к финалу толпа перед нашей сценой заметно поредела.

Южане скалили свои белые зубы. Надо было спасать положение.

Муха по-быстрому обежал публику с тарелкой – меньше половины – и тут же объявил «Фарс о рогатом муже». К нашим зрителям прибавилось еще несколько заинтересованных горожан – тут-то я увидела Господина Блондина.

Это было немислимо. Он возвышался над толпой на целую голову – эдакий мячик на гребне волн. Он был голубоглаз до неприличия – с любого расстояния глаза его горели, как два кусочка льда, подсвеченного солнцем. Он был не то чтобы молод, но назвать его стариком не поворачивался язык. Я в жизни не встречала столь благородных лиц; он был как ожившая статуя, как бронзовый памятник великому воителю. Теперь этот памятник поглядывал в нашу сторону, раздумывая, видимо, уходить или остаться.

Господин Блондин, не уходите!!

Я еле дождалась, пока Флобастер, вооруженный принадлежностями канцеляриста, закончит свой монолог – он-де суровый муж, и жена его – светоч добродетели.

Он еще договаривал последние слова, когда на сцену вылетела я – с накладной грудью и оттопыренным задом. Вылетела, как горошина из трубки шкодника; на всей площади для меня существовал сейчас один только зритель.

Ах, я отчаявшаяся женушка, такая добродетельная, такая доброе-етельная, может быть, добрый муженек позволит мне повышивать гладью на пару с подруженькой?

Подруженька выплыла из-за кулис, покачиваясь на тонких каблуках. На свет явились пальцы размером с обеденный стол; по мере того, как я нежно напевала: «Ах, подруженька, какой сложный стежок, какой дивный рисунок», с подруженьки последовательно слетали шляпка, туфельки, вуалька, платье, корсет...

Муха остался в одних штанах. Спереди их оттопыривала огромная толстая морковка; заговорщицки переглянувшись, мы загордились натянутой на пальцы простыней и от «мужа», и от публики.

Эту сцену можно играть до бесконечности.

Упершись друг в друга лбами, мы с Мухой стонали и вопили, хрипло дышали и выписывали бедрами кренделя; я то и дело выставляла из-за пальцев голую по колено ногу, а Муха ритмично продавливал натянутую ткань своим тощим задом. Мы изображали страсть, как могли; черные глаза Мухи горели все жарче, на верхней губе его выступал капельками пот, я подозреваю, что в тот момент он имел бы успех и без морковки...

А Флобастер тем временем говорил монолог, и в голосе его звенело такое искреннее, такое неподдельное самодовольство, что публика валилась с ног от утробного хохота.

Флобастер, воздевая руки, декламировал:

– О нравы! О распутство! О беда!
Тлетворное влияние повсюду...
Пускай цепной собакою я буду,
Но наглый взор распутства никогда
Супруги благодатной не коснется...

Позади него тихонько раздвинулась шторка; невидимый публике Бариан засел у «мужа» за спиной – и, к удивлению зрителя, над макушкой Флобастера показались сперва острые кончики, потом первая развилочка – и наконец огромные ветвистые рога!

Толпа грянула хохотом, едва не надрывая животы. Рога росли все выше и выше, пока на закрепились, наконец, особым образом у Флобастера на затылке. Бариан ускользнул за шторку.

Флобастер поднял палец:

– А не пойти ли к милой, не взглянуть ли Как в обществе достойнейшей подруги Моя супруга гладью вышивает; Так голубь белоснежный пребывает в объятых целомудрия. Пичуга Невинна, как пушистый нежный кролик...

Этим «кроликом» он совершенно доконал публику.

– Пойди! – заорал кто-то из толпы. – Пойди погляди, ты, простофиля, на своего кролика!!

Флобастер скептически поджал губы и показал на свои счета:

– Труды... Труды не позволяют мне отвлечься на минуту...

Лицо его под ветвистой короной было преисполнено такого достоинства, такого трогательного серьеза, что даже я, которая видела все это двести раз, не удержалась и прыснула. Нет, Флобастер, конечно, самодур, тиран и скупердяй – но он великий актер. Просто великий, и за это ему можно простить все, что угодно...

Фарс подходил к концу – в дырочку натянутой на пальцы ткани я поймала наконец своего Господина Блондина.

Небо, он не хохотал. Он ржал, как племенной жеребец. Лицо его потеряло аристократическую бледность, сделавшись красным, как помидор. Он хохотал, глядя на Флобастера и его рога; и как же мне захотелось выскочить вперед и закричать на всю площадь: я, я придумала этот трюк! Вы все смеетесь, а я придумала, я, я, я!!

Конечно, я никуда не выскочила. Муха выполз из-за пальцев на четвереньках, в перекошенном корсете, в едва застегнутом платье; «муж» озадаченно предположил, что мы вышивали, не покладая рук. Толпа рукоплескала.

Мы раскланивались три раза подряд. Приседая в совершенно неуместном здесь реверансе, я в панике шарила глазами по толпе: потеряла, потеряла!!

Через минуту он обнаружился под самым помостом. Меня будто ошпарили кипятком; и Флобастер и Муха давно скрылись за кулисами – я раскланивалась, как заводная кукла, пока мой Господин Блондин не поманил меня пальцем.

В кулак ко мне непостижимым образом попала теплая золотая монетка. Его совершенные губы двигались, он обращался ко мне – ко мне! – а я не слышала слов.

Чудесное мгновение длилось до тех самых пор, пока безжалостная рука Флобастера науволокла меня за подол...

Я носилась с золотой монеткой целых полдня; решено было, что она станет мне талисманом на всю жизнь. Однако уже назавтра здравый смысл взял верх над романтическим порывом, и талисман обратился сначала в горстку серебряных монеток, а потом уже в шляпку с бантом, платье на шнуровке и праздничную трапезу для всей честной компании.

* * *

Тяжелый обеденный стол, окруженный стайкой испуганных стульев, забился в угол и оттуда наблюдал за поединком.

Луар напал, стелился в длинных выпадах, всей азартной душой устремляясь вслед за кончиком затупленной шпаги. Его противник почти не сходил с места – Луар налетал на него с разных сторон, как вороненок на каменную башню.

Привлеченная шумом, в дверь опасливо заглянула кухарка; при виде ее Луаров противник воодушевился и, продолжая парировать и уклоняться, осведомился о завтраке. Кухарка опасливо закивала, пробормотала несколько аппетитных названий и ускользнула прочь.

– Ноги, ноги, ноги! – кричал Луаров противник, обращаясь на этот раз к Луару. – Не двигаешься, ну!

Луар утроил темп. Горячий пот стекал ему за шиворот.

Противник отступил на шаг и опустил шпагу:

– Передохнем.

– Я не устал! – оскорбился задыхающийся Луар.

– Все равно передохнем... Я передохну.

– Тебе не надо.

– Ах, так?!

Шпаги снова скрестились, на этот раз Луар оказался в обороне; рассекая воздух, на него надвигалась размазанная в движении сталь, и, отразив несколько ударов, он просто испугался – как пугался в детстве, когда отец шел на него, изображая медведя. Он знал, что это папа, а не медведь – и все равно верил в игру, видел перед собой лесного зверя и кричал от страха...

Затупленное острие остановилось у Луара перед лицом; противник тут же отступил, готовя новую атаку, и все повторилось снова – несколько панических блоков со стороны Луара, железный веер перед его носом, острие, эффектно замершее против его груди.

Луаров противник скользил по дощатому полу, как водомерка по озерной глади; любое его движение было широким и экономным одновременно Луар залюбовался и, уже не сопротивляясь, принял несильный укол в бок.

– Внимательнее! – укорил противник. – Я уже накидал здесь кучу трупов... Ну-ка!

Луар улыбнулся и уронил шпагу на пол. Его противник на мгновение замер, потом осторожно опустил свое оружие:

– Опять?

– Это бесполезно, – признался Луар со вздохом.

– Сдаешься?

– Не сдаюсь... Видеть не желаю эту шпагу, – приступ раздражения оказался неожиданностью для него самого. Тут же устыдившись, Луар отвернулся и отошел к столу.

– На кого ты злишься? – спросили у него за спиной. – На меня?

– На себя, – признался Луар со вздохом. – Я... Так... Ну, бесполезно. Стоит ли тратить... Я все равно не буду... как ты, – он улыбнулся через силу.

– Ну, вот и весенний денек, – рядом шлепнулись на стол кожаные перчатки, и Луар почувствовал тяжелые руки на своих плечах. – Солнышко-дождик-смерчик-бурька-солнышко... Ты сегодня очень хорошо работал, малыш.

– Это смотря с чем сравнивать, – Луар на мгновение коснулся щекой горячей жесткой ладони. – Если с пьяной старухой... да еще на сносях...

– Так. Пьяная старуха на сносях, – его собеседник озадаченно хмыкнул. – Мда-а... Берика свое несчастное оружие да закрепим сейчас одну штуку...

Они повторили несколько комбинаций подряд, когда двери столовой распахнулись и на пороге встала темноглазая внимательная женщина. Луаров противник тут же опустил шпагу, давая понять, что урок закончен, потому что – и Луар знал это давно – его отец никогда не фехтует в присутствии его матери. Никогда. Будто оружие руки жжет.

За завтраком Алана долго и с пристрастием выясняла, почему, если волк – зверь, тигр – зверь, то лошадь, что, не зверь? А свинья? А корова?

Прислуживала новая горничная, Далла; Луар наблюдал, как она всякий раз краснеет, склоняясь над плечом его отца, краснеет мучительно, до слез. Он попробовал взглянуть на своего отца круглыми глазами этой девчонки – красавец, герой, полковник со стальным взглядом и мягким голосом, ожившее чудо, воплощенное сновидение, предел мечтаний и повод для горьких слез в подушку, потому что ничего, кроме просьбы подать салфетку, тебе, девочка, от него не услышать – хотя он добр и, может быть, не высмеет тебя, а если повезет, то ласково потреплет по загривку...

Посмеиваясь про себя, Луар сам с собой заключил пари, что, едва покинув столовую, Далла тут же благоговейно сгрызет вот эту недоеденную отцом горбушку; еще более его веселило, что мама, его проницательная мама совершенно ничего не замечает. Она слишком далека от этих маленьких житейских драм, ее это даже не веселит. При чем тут пунцовая горничная, когда на ее, матери, глазах полковника Солля атаковали по всем правилам богатые и знат-

ные соискательницы, атаковали свирепо, вооружившись густыми сетями интриг, – но госпожа Тория Солль и тогда не замечала их в упор, будто их и не было...

Пряча невольную улыбку, Луар дотянулся под столом до отцовой ноги и, когда отец вопросительно на него глянул, указал глазами на пышущую жаром Даллу. Тот насмешливо прикрыл глаза – вижу, мол, что поделать, сынок, не ругать же девчонку, вон как старается.

Луар вздохнул и опустил глаза в тарелку. Далла прошла мимо, задела спинку его стула, присела в извиняющемся реверансе...

Он, Луар, всегда останется пустым местом для Даллы, для многих тысяч Далл. Рядом с отцом он выглядит так же привлекательно, как чахлый кустик в тени огромного цветущего дерева. Горничная или принцесса – что им за дело до неловкого, неуклюжего, невзрачного...

– Что это ты ничего не ешь, Денёк? – тихо спросила мать. В любую какофонию Луаровых мыслей ее голос всегда вплетался единственно чистой, уверенной нотой.

– Денек, Денек, тучка набежала? – деловито осведомилась Алана.

Он получил свое прозвище чуть ли не вместе с именем – мать говорила, что у этого ребенка характер, как весенний день: солнце-тучи...

Он усмехнулся и подмигнул расцветшей Алане; сестра боготворит его так же, как сам он обожает отца. Кто знает, как сложились бы их отношения, будь задиристая Алана чуть старше – но между ними разница в тринадцать лет, для пятилетней девочки восемнадцатилетний брат – чудо из чудес, третий родитель...

– Луар, ты думал, о чем я просила? – мать задумчиво потрогала висок. Она звала его «Луаром» только в особо серьезных случаях.

Честно говоря, он не думал. Если мать хочет, чтобы он поступил в Университет – он поступит, конечно, но и это, пожалуй, бесполезно. С младенчества он хотел стать воином, как отец, – но с отцом ему никогда не сравняться ни доблестью, ни умением, а вот мать... Ему никогда не сделаться таким ученым, как она. Голова лопнет.

– Я не знаю, – сказал он честно и едва удержался, чтобы не добавить: у выдающихся родителей дети обычно тусклые, как стекляшки.

Мать огорчилась; Луар чуть ли не кожей почувствовал, как она огорчилась – но виду не подала:

– Что ж... Если ты захочешь чего-нибудь другого... – она взглянула на отца, будто ожидая поддержки.

– Все-таки лошадь – это не зверь, – задумчиво предположила Алана. – Лошадь – значит зверька...

– Ты грустный или мне кажется? – спросил отец. Луар снова улыбнулся через силу.

Отец успел остановить руку влюбленной Даллы, наострившейся заново наполнить его бокал; от прикосновения своего кумира бедная девушка чуть не грохнулась в обморок.

– У меня к тебе будет разговор, Денек, – сказал отец, и Луар встрепенулся. – Погуляем... после завтрака?

– Конечно, – поспешно отозвался Луар, довольный и обеспокоенный одновременно.

Далла споткнулась в дверях и уронила на пол соусницу.

Улицы помнили недавний праздник. В этот уже не ранний час город все еще пребывал в сонном оцепенении, и тишина нарушалась лишь размеренным шарканьем метелок.

Отец и сын вышли на площадь, непривычно малолюдную и пустую: театрики и балаганы, развлекавшие зрителей несколько дней подряд, исчезли, изгнанные с площади приказом бургомистра. Там, где еще недавно стояли подмостки, громоздилась теперь куча хлама; в стороне лежал огромный, с разорванным боком барабан.

Перед зданием университета величественно замерли железная змея и деревянная обезьяна; чья-то развеселая рука украсила обезьянью голову шутовским колпаком. Полковник Солль молча поднялся по широкой лестнице, чтобы стянуть колпак с темного деревянного лба.

– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказал Луар. – Ты думаешь, что я... должен сделать так, как хочет мама? Стать студентом?

Отец задумчиво повертел в пальцах пеструю тряпочку. Улыбнулся:

– Знаешь, вчера я видел представление бродячей труппы... Такой занятный фарс. И что интересно – в точности повторяющий приключение, которое я сам устроил в городе Каваррене много лет назад... Еще до знакомства с мамой.

Луар насторожился. За всю свою жизнь ему лишь дважды случалось побывать на родине отца – он смутно помнил красивый городок на берегу реки, огромный дом с гербом на воротах, желтого старичка в тесном гробу – своего деда... Мать не была в Каваррене ни разу, по крайней мере на памяти Луара; отец никогда не вспоминал при ней о своей каварренской жизни – а вот Луару рассказывал, смачно и с удовольствием, и про породистых бойцовых вепрей, и про высоких тонконогих коней, и про славный полк гвардов, парады и патрули, охоты и иногда – дуэли... Тогда Луар завидовал отцу – и лишний раз осознал, что такую жизнь ему не прожить никогда.

Луар вздохнул. Отец следил за ним, накручивая колпачок на палец.

Навстречу им попала стайка студентов; кто-то первый заметил полковника Солля, произошло сложное переталкивание локтями – и ученые юноши поприветствовали Луарова отца с необычной для сорвиголов почтительностью. Черные шапочки в их руках коснулись кисточками мостовой; Солль кивнул в ответ – студенты заулыбались, ошарашенные. Луара они, как водится, не заметили – впрочем, он и не огорчился.

Он всегда любил молча идти рядом с отцом. Сколько себя помнил – сначала держась за руку, и голова его едва дотягивалась отцу до пояса; в один отцов шаг тогда укладывалось несколько Луаровых. Даже теперь ему приходилось шагать чаще, чтобы примеряться к шагу своего замечательного спутника, – и все равно он любил идти рядом, молчать и впитывать то искреннее и глубокое почтение, которое выказывали его отцу самые разные люди...

Отец и сын миновали здание суда, перед которым возвышалась круглая черная тумба, а на тумбе болтался игрушечный висельник на игрушечной же перекладине. Луар скользнул по нему равнодушным, давно привычным взглядом. Рядом возвышалась наглухо запертая башня – ее звали «Башней Лаш», и случалось, что на изъеденных временем стенах появлялись написанные углем проклятия. Луар так и не знал толком – люди их пишут или сами проступают; за Башней укрепилась самая дурная слава, и стражники угрюмо гоняли любопытных от этих крепко запертых, да еще и заложенных кирпичами ворот.

Сейчас двое красно-белых стражей порядка нерешительно отпихивали древками расхристанного, грязного, обвешанного лохмотьями старика; Луар почувствовал, как напрягся идущий рядом отец. Старик был городским сумасшедшим; он то исчезал надолго, то появлялся в городе снова, шатался по улицам, выкрикивая неразборчивые мольбы и собирая за собой целые шлейфы злых ребятишек; теперь, накинув на голову остатки ветхого капюшона, он что-то втолковывал стражникам, а те щерились и толкали его все злее – древками в живот...

– Лаш-ашша! – тонко выкрикнул старик.

Встретившись с отцовым взглядом, Луар вздрогнул. Это был чужой, свинцовый взгляд, которого Луар никогда раньше не видел в его глазах...

Или почти никогда.

На секунду оставив старика, стражники поспешили поприветствовать господина полковника; Луаров отец ответил, не сбавляя шага. Скоро старик и стражники остались позади.

Весь следующий за площадью квартал Луар шел, не поднимая головы. Будто в бокале сладкого вина оказался вдруг рыбий жир – его задела не столько неприятная встреча, сколько

болезненная реакция отца; нервный и мнительный, он принял тот свинцовый взгляд едва ли не на свой счет. Отец молча и виновато положил руку ему на плечо.

Луар знал, почему сам вид безумного старика способен ввести отца в ярость и раздражение. Эгерта Солля связывала с ныне запрещенным Орденом Лаш давняя трагедия; Луар догадывался, что отцу тяжело всякий раз даже смотреть на заколоченную Башню, что, будь его воля, он давно бы жил в Каваррене – но мама не может без Университета, без кабинета своего отца, Луарового деда, которого звали Луаян, который был магом и в честь которого, собственно, Луар получил свое имя...

И еще – мама не любит Каваррена.

Луар вздохнул и, выказывая отцу свою солидарность, тихонько пожал его локоть.

...Ему было лет двенадцать, когда, жаждущий забав и раззадоренный примером прочих ребяташек, он запустил в старика камнем. Несчастный случай направил его руку – камень угодил бедняге в лицо и рассек бровь. Старец вскрикнул и едва устоял на ногах; балахон его перепачкался кровью.

Тот же несчастный случай сделал так, что отец и мать Луара стали свидетелями его поступка.

Отец – и Луар был искренне в том уверен – и сам с удовольствием швырнул бы камнем в ненавистного старика; однако реакция его оказалась вовсе не такой, как ожидалось. Отец был хмур и молчал – а уж мать и вовсе потемнела, как туча. Луару доходчиво объяснили, как нехорошо причинять боль старым, да еще и безумным людям, как отвратителен его поступок и что за это полагается; видя реакцию отца, он и сам уже уверился в совершеннейшем ужасе случившегося. Мать, стиснув зубы, послала за розгами – и Луар, на чью долю до сих пор не выпадало такого наказания, прекрасно знал, что рука ее не дрогнет.

Тогда он взял отца за локоть и шепотом попросил его собственноручно исполнить приговор. Он не знал, как сложились бы потом их отношения с матерью, – но от отца он с радостью готов был снести и это. Тем более, что в глубине души его по-прежнему жила уверенность: отец бы и сам...

...Они покружили по улицам, постояли на горбатом мостике над каналом; Луар чувствовал, что отец собирается с мыслями, а может быть, и с духом, – и молчал, боясь оказаться глупым, что-то нарушить. В нем почему-то крепла уверенность, что сегодняшняя прогулка откроет ему, Луару, нечто важное, что еще приблизит его к отцу – хотя ближе, казалось бы, невозможно...

– Сынок, – сказал наконец полковник Солль. Маленький камушек вырвался из его руки и утонул в канале, оставив на поверхности тонкое расходящееся кольцо. – Ты сегодня очень хорошо фехтовал.

Луар вздрогнул. Он ожидал каких угодно слов – но только не этих. Он не смог сдержать довольной улыбки – но прекрасно понял, что отец хочет чего-то большего, нежели просто похвалить.

– Ты хорошо фехтовал, – продолжал отец, бросая другой камушек, но, видишь ли, ты ведь можешь вообще не фехтовать... Если вдруг не захочешь... От этого мы не станем любить тебя меньше.

Сбитый с толку, Луар смотрел, как расходятся по воде темные круги. Отец улыбнулся:

– Ты можешь не поступать в университет и не прочесть больше ни одной книги... Нам будет грустно, но все равно мы тебя не разлюбим. Понимаешь?

– Нет, – честно признался Луар.

Отец вздохнул:

– Теленок валяется в ромашках и сосет вымя... А теперь представь, что то же самое делает здоровенный бык.

Помолчали.

– Я что-то не так делаю? – спросил Луар шепотом. Отец запустил руку в путаницу своих светлых, как и у Луара, волос, смел со лба назойливые пряди:

– Я, наверное, не так сказал... Малыш, нельзя до старости жить детством. Хм... Старость твоя далеко, конечно, но пора выбирать...

Луар прерывисто вздохнул. Потупился, изучая мокрицу на влажном камне перил.

Отцова рука легла ему на плечо:

– Денек...

– Выбери за меня, – вдруг страстно попросил Луар. – Мне кажется... то у тебя лучше получится.

Отцовы пальцы на его плече сжались:

– Ну нельзя же!.. Ты мужчина, ты решаешь свою судьбу...

Луар вздохнул снова. Этого-то он и боялся; непостижимое будущее, неотвратимые перемены... Вернуться бы в четырнадцать лет. Даже и в двенадцать – несмотря даже на ту порку... Ведь потом было все хорошо... Даже лучше прежнего... Кажется, та боль привязала его к отцу, вместо того чтобы оттолкнуть...

– Твой выбор будет правильнее, – сказал он глухо. – Ты опытнее... да и потом...

Он запнулся. Отец устало опустил кончики рта:

– Что – «потом»?

Луар молчал. Он мог бы сказать, что отец его умнее и лучше, что ему, сыну, никогда и ни в чем не сравняться с великолепным отцом, – но он молчал, опасаясь насмешки.

Его собеседник тоже молчал и смотрел без улыбки. Вздохнул, перевел взгляд на воду; потер пальцем ухо, будто собираясь с мыслями:

– Сынок... Когда я был такой, как ты... чуть постарше. В Каваррене... – Эгерт Солье перевел дыхание. – Я совершил очень гадкий поступок. И я... ыл за него страшным образом наказан. Заклятье трусости... сделало меня жалким и... отвратительным существом. Я никогда не говорил тебе, но мама очень хорошо знает.

У Луара мурашки забегали по коже. Отец говорит о каком-то незнакомом человеке, а он, Луар, прослушал начало истории...

– Я стал трусом, Луар, самым низостным из трусов. Я боялся темноты, высоты, я смотреть не мог на обнаженную шпагу... Я терпел оскорбления и побои – и не мог ответить, хотя и был сильнее... Я не заступился за женщину, потому что...

Он запнулся, будто ему рот свело судорогой. Перевел дыхание:

– Видишь ли, малыш... Я долго думал, рассказывать тебе... Или все же не стоит.

Это испытание, понял Луар. Он меня разыгрывает.

Отец оторвался, наконец, от воды и заглянул сыну в глаза:

– Ты не веришь мне, Денек?

В эту самую секунду Луар понял, что все это правда. Отец не шутит и не разыгрывает, каждое слово дается ему с болью, он ломает сейчас тот героический образ, который давно сложился в воображении Луара, он рискует уважением собственного сына...

Луар мигнул.

– Мама знает, – продолжал отец. – Она... видела меня... таким, что... Лучше не вспоминать. Но ты... Сегодня я снова увидел, как ты... абиваешься в тень. И тогда я решился. Рассказать тебе. В конце концов... сбросил залятье, и все равно прошли годы, прежде чем я стал таким, как сейчас... А ты еще малыш. Я не желаю тебе и сотой доли тех... того, что было со мной. Будь счастливым, будь таким, как ты есть... Не мучай себя этим вечным сравнением. Понимаешь, почему?

Луар смотрел вниз, и в его голове царил сумятица. Мокрые ладони будто примерзли к холодным каменным перилам; отец стоял перед ним и ждал его ответа – как подсудимый.

По воде тянулись блеклые осенние листочки; Луар не мог сосредоточиться. Все это слишком сразу. Шли, молчали, было хорошо...

И тогда он вспомнил.

Тогда тоже были листья – на воде и на берегу... Ему было тринадцать лет, и пахло сеном. Ощувив боль, он не понял сразу, что произошло, дернулся, опустил глаза – и увидел в жухлой траве змею.

Ослабели ноги. Мир затянулся черной дымкой; Луар хотел бежать и не мог сойти с места – но люди на берегу услышали его отчаянный крик.

Траурная пелена. Страх, от которого цепенеют все внутренности; белое и жесткое лицо отца: «Не бойся».

Лезвие ножа в костре. Ремень, перетянувший ногу до полного онемения. Какие-то перепуганные женщины; отец оборвал их причитания одним хлестким коротким словом. А матери тогда не было на берегу – она ждала рождения Аланы...

Мокрое сено. Запах жухлой травы. И уже все равно, как выглядишь и как на тебя посмотрят, нет сил играть храбрость – но отец спокоен: «Сейчас будет больно».

Он кричал и бился. Он боялся каленого железа больше смерти – уж лучше умереть от яда...

Но отец его был жесток; сильные руки скрутили Луара, как цыпленка.

Край отцовской куртки в судорожно стиснутых пальцах. Ошеломляющая боль; костер, широкая ладонь, зажимающая рот. Резкое облегчение. Белое бесстрастное лицо, и на губах – Луарова кровь. Вода. Холодная вода.

«Вот и все».

И спокойствие сползает с этого лица, будто маска...

А потом подросток-Луар лежал на телеге и смотрел в небо. И удивленно думал о странностях судьбы и бесконечно долгой жизни впереди – вот ведь...

Он не знал, каково в те минуты было его отцу. Наверное, во рту спасителя-Солля была ранка – яд, высосанный из тела сына, достал теперь самого спасителя, и даже могучий Соллев организм одним только чудом с ним справился...

Отправив домой сына, Солль свалился в судорогах. Ничего этого Луар в те минуты не знал...

Мгновение острого счастья – покачивающаяся телега, негромкий голос возницы, над миром – вечернее небо, зеленое с золотым...

...Блеклые листья под мостом. Неспешный осенний парад.

– Я... хотел как лучше, Денек, – устало сказал отец. – Я хотел освободить тебя... От... идеала, что ли... Может, и не стоило...

Луар перевел дыхание и крепко, крепко стиснул твердое плечо стоящего перед ним человека.

Обнять бы. Но нельзя. Не мальчишка.

* * *

Ночью в плотно закрытом фургончике тепло и душно – от нашего дыхания. Утром острый, как иголка, ледяной сквознячок пробился-таки в какую-то щель и цапнул меня за ногу; ежась, щурясь, протирая глаза и чуть не разрывая себе рот смачными зеваниями, я выбралась наружу.

Под небом было серо и холодно. Три наши повозки стояли, сбившись в кучу, в каком-то дворе; Флобастер договорился с хозяином на неделю вперед. Под ногами бродили куры; сонная Пасть, привязанная цепью к колесу, исподлобья разглядывала их одним приоткрытым глазом. Я огляделась, прикидывая, где тут безнаказанно можно справить нужду.

За День Премноголикования мы заработали столько, сколько не зарабатывали за целую ярмарочную неделю. Играли допоздна, играли при факелах, Муха взмок, бегая с тарелкой, а веселые монеты звенели и звенели, и Флобастер подгонял: еще! еще!

Бариян охрип; Гезина пела, аккомпанируя себе на лютне, Флобастер читал сонеты собственного сочинения, где-то палили пушки, вертелись огненные колеса, пахло дымом, порохом и дорогими духами. Все мы пошатывались на ходу, как пьяницы или матросы; наконец, занавес был задернут, и Флобастер посадил на цепь нашу вечную спутницу – злобную суку по кличке Пасть. Муха где стоял, там и свалился; прочие с трудом добрались до фургончика, где и упали вповалку, и, засыпая – лицом во влажную мешковину – я слышала, как рвет струны пьяная скрипка, подыгрывая не менее пьяным, охрипшим певцам...

Мы трудились, как бешеные, пока через несколько дней праздник не выдохся и к нам за занавеску не явился стражник – в красном мундире с белыми полосами, с пикой в руках и коротким клинком у пояса. Гезина попыталась было с ним кокетничать – с таким же успехом можно было совращать куклу, казненную перед зданием суда. Мы очистили площадь так быстро, как только могли – однако Флобастер не спешил покидать город, полагая, очевидно, что в карманах горожан еще полно наших денег.

...Одергивая юбку, я некоторое время раздумывала – возвращаться в фургончик либо найти себе занятие поинтереснее. Из соседней повозки доносился могучий храп Флобастера; Пасть звякнула цепью и улеглась поудобнее. Вдрагивая от холода, я прокралась обратно, открыла сундук и вытащила первый попавшийся плащ.

Это был плащ из фарса о Трире-простаке; я обнаружила это уже на улице, но возвращаться не хотелось, а потому я запахнула плащ поплотнее и пошла побыстрее, чтобы согреться.

Собственно говоря, уже через несколько кварталов я пожалела о своем предприятии. Город был как город, красивый, конечно, но что я – городов не видела? Прошедший праздник напоминал о себе грудями мусора, в котором деловито рылись мрачные полосатые коты – почему-то все полосатые, ну прям как братья! Лавочки и трактиры большей частью были закрыты, да я и не взяла с собой денег; несколько раз меня окликали – сначала какой-то хлюпик лакейского вида, потом еще кто-то, потом, надо же, трубочист. Этот меня особенно разозлил – надо же, рыло черное, гирька в руках, а туда же – флиртовать! Я отбрила его так, что он, бедняга, чуть не свалился с этой своей крыши...

Короче говоря, настроение у меня совсем испортилось, да к тому же я испугалась заблудиться; и вот стоило мне повернуть обратно, как я увидела Его.

Мне, вероятно, покровительствует небо. Господин Блондин шел мне навстречу с каким-то мальчишкой чуть постарше меня. Мальчишка сиял, как надраенный чайник; я посторонилась, давая им дорогу – но мой кумир даже не взглянул на меня. Он вообще меня не заметил, будто я деревце при дороге... Я проглотила обиду, потому что, во-первых, он мог уже меня забыть, а во-вторых, они оба были слишком увлечены разговором.

Скромно пропустив беседующих господ, я долго и задумчиво глядела им в спины – в это время мои ноги, о которых я напрочь забыла, помялись-помялись да и двинулись вслед, так что когда я опомнилась наконец, уже поздно было что-либо менять.

Так, веревочкой, мы прошли несколько кварталов; Господин Блондин и его спутник остановились на перекрестке, постояли, видимо прощаясь; потом мой кумир махнул рукой подкатившему экипажу – и только я его и видела!

Парень, впрочем, остался; худощавый такой, вполне симпатичный парень, немножко сутулый; он проводил экипаж глазами, потом повернулся и медленно двинулся в противоположную сторону.

На меня снова напало вдохновение – именно напало, как разбойник. На плечах у меня лежал плащ, в котором я играла Скупую Старуху в фарсе о Трире-простаке; этот плащ замеча-

телен был не только плотной тканью, защитившей меня от утреннего холода, но и пришитыми к его краю длинными седыми космами.

Парень, не так давно бывший спутником Господина Блондина, неспешно уходил прочь; давно отработанным, привычным движением я натянула плащ себе на голову, согнула ноги в коленях и упрятала в темных складках всю свою немощную, согбенную фигуру. Седые пряди колыхались на ветру; то и дело приходилось сдвигать их в сторону, чтобы не мешали смотреть.

С прытью, неожиданной для старушки, я нагнала парня и засеменила чуть сбоку; парень явно происходил из родовитых и богатых кварталов, это вам не лакей и не трубочист, породу сразу видать. Он шел медленно, но слабые старушечьи ноги поспедали за ним с трудом; запыхавшись, я не выдержала и раскашлялась.

Он обернулся; на лице его блуждало то рассеянно-счастливое выражение, с которым он проводил Господина Блондина. Правда, при виде меня оно несколько померкло – что хорошего в дряхлой старухе с растрепанными космами, когда она, старуха, появляется, как из под земли! Впрочем, он тут же овладел собой, и на лице его появилось подходящее к случаю внимание.

– Добрый юноша, – продребезжала я надтреснутым голосом. – Подскажи бедной глупой старухе, что за прекрасный господин только что разговаривал с тобой?

Его губы дрогнули – тут были и гордость, и застенчивость, и удовольствие, и некое превосходство:

– Это мой отец, почтеннейшая.

Мне понадобилось несколько секунд, чтобы переварить это сообщение. Лицо парня казалось непроницаемым, но я-то видела, что он вот-вот лопнет от гордости. Сочтя, что старушечьё любопытство вполне удовлетворено, он повернулся и зашагал прочь; мне пришлось покричать, чтобы нагнать его снова:

– Э-э... Деточка... Зовут-то его как?

Он остановился, уже с некоторым раздражением:

– Вы не здешняя?

Я охотно закивала, трясая седыми космами и разглядывая собеседника в узкую щель своего самодельного капюшона. Кажется, парень ни на минуту не сомневался, что уж здешние-то все как один обязаны узнавать его папашу в лицо.

– Это полковник Эгерт Солль, – сказал он. Таким же тоном он мог бы сказать – это повелитель облаков, обитатель заснеженных вершин и заклинатель солнца.

– Светлое небо! – воскликнула я, приседая чуть не до земли. Эгерт Солль! Подумать только! То-то я гляжу – личико знакомое!

Теперь он смотрел на меня удивленно.

– Маленький Эгерт, – прошептала я прочувственно. – Вот каким ты стал...

Он нахмурился, будто пытаясь что-то припомнить. Пробормотал нерешительно:

– Вы из Каваррена, что ли?

Милый мой мальчик, подумала я с долей нежности. Как с тобой легко. Из Каваррена...

– Из Каваррена! – задребезжала я воодушевлено. – Вот где он рос, родитель твой, на моих глазах рос, без штанишков бегал, пешком под стол ходил...

Он нахмурился – «без штанишков» было, пожалуй, слишком смело.

– Маленький Эгерт! – я тряслась от переполнявших меня чувств. – Да знаешь ли ты, юноша, что этого самого твоего родителя я и на коленках тетешкала, и головку беленькую гладила, и соплю подтирала, а он, сорванец, все норовил леденец с комода стянуть...

Парень отшатнулся, тараща глаза; тем временем мое сентиментальное старушечьё сердце заходило в сладких воспоминаниях:

– Глазки-то шустрые... Через забор к нам шмыгнет, бывало, и давай яблоки воровать...

Он сглотнул – шея дернулась – но сказать так ничего и не смог.

– А старик-то отец мой, покойничек, хворостину однажды взял...

– Что вы мелете, – выдавил он наконец. – Какой... покойник?

У него, бедного, все перемешалось в голове. Я наседала:

– ... А как подрост наш орелик... Годков двенадцать было ему... Убегу, говорит, в актеры, лицедейть буду на сцене... В труппе господина Флобастера... Тут уж его батенька, дедушка твой, хворостину как взя...

– Вы, наверное, сумасшедшая, – осторожно предположил он. – Или перепутали имя.

Он пятился, и при этом все быстрее и быстрее, досадуя, наверное, что ему попала на редкость прыткая и ловкая старуха:

– Я?! Помилуй, деточка, я уж семьдесят лет как все помню! Актриса его сманила, и ведь так себе актриска, ни рожи ни кожи...

Он побагровел, резко повернулся и пошел прочь; я нагнала его и побежала рядом; по дороге попала лужа, и я в азарте перемахнула так, что по поверхности воды пробежала рябь. Он замедлил шаг и подозрительно на меня покосился. Чтобы загладить оплошность, я закричала с удвоенной силой; седые патлы забились мне в рот:

– Тьфу... Сынок... Тьфу... Не беги... пожалей... старуху... Актриска то... паршивая была, это я тебе гово...

С неба обрушился грохот колес. Прямо перед моим лицом оказался карий лошадиный глаз в венчике из длинных ресниц; еще мгновение – и круглые мохнатые копыта втоптали бы меня в мостовую. Заорал кучер, в потоке его слов я разобрала только «старую суку»; обжигающее конское дыхание отодвинулось – и карета, огромная, золоченная, пузатая как боров карета прокатилась мимо, окатив меня грязью, ослепив мельканием спиц, обругав черным языком ливрейного лакея, громоздившегося на запятках...

...Моя брань догнала его в спину; он обернулся, и я еще успела увидеть, как вытянулось и побагровело лакейское лицо. Карета давно скрылась за углом, а я стояла посреди улицы и орала, как базарная торговка, ругалась сквозь наворачнувшиеся на глаза слезы, бранилась вслед, пытаясь криком изгнать запоздалый ужас – еще волосок, и переехали бы...

Потом я обнаружила, что стою с непокрытой головой, что волосы растрепались у меня по плечам, а замечательный плащ из фарса о Трире-простаке зажат у меня в опущенной руке и купает в луже свои седые космы.

Мой недавний собеседник стоял чуть поодаль, и на лице его медленно сменяли друг друга всякие противоречивые чувства. Очевидно, превращение согбенной старухи в молодую и очень скандальную особу произвело на парня исключительное впечатление.

– Посетите представление, внучек, – сказала я ему сухо. – Труппа господина Флобастера, самые смешные на свете фарсы...

Развернулась и ушла, волоча плащ по мостовой и проклиная свой глупый, неожиданный, абсолютно бесполезный авантюризм.

Изрядно поплутав, я вернулась к месту нашей стоянки, получила выволочку от Флобастера и выстирала плащ в кадучке с ледяной водой. Жена нашего хозяина – веселая молодуха – вертелась вокруг да около, ей было любопытно поглазеть на бродячих комедиантов.

– Милейшая, – обратилась я к ней, – вы слышали когда-нибудь о господине по имени Эгерт Солль?

Она чуть не подскочила:

– Полковник Солль? Как же, это, милая, герой... Это, милая, если б не он, так и город спалили бы, уж лет двенадцать или больше, как наскок этот был... Ты молодая, может, не помнишь, но уж слышала, наверное, кто их знает, откуда набежали, как саранча, орда громадная, бешеные, голодные и по-нашему не понимали... Резали и старых, и малых. Осада была, бургомистр-то растерялся, начальник стражи убежал... Полковник Солль, долгих лет ему, тогда еще не полковник... Вот уж кто боец, так это боец, стражу собрал, людей собрал, муж мой ходил,

вот... Отбили извергов этих, со стен поскидывали, кого в лес загнали, кого в реке потопили... Ну, и своих положили – меньше, чем в Мор, а все поредел город... А если б не полковник Солль, так не знаю, девонька, что было бы, сожгли бы, пограбили, перебили да и все...

Я поблагодарила разговорчивую женщину. Плащ висел на ветхой веревке, заливая землю мыльными потоками.

Поистине, стыд – чудовище с горящими, как угли... ушами.

* * *

Кабинет назывался кабинетом декана Луаяна, хоть сам декан умер двадцать лет назад и никто из теперешних студентов никогда его не видел. Декана помнил кое-кто из профессоров; господин ректор, немощный старец, любил прервать лекцию ради рассказа о замечательном человеке, когда-то поднимавшемся на эту славную кафедру. Впрочем, самой живой памятью о декане Луаяне была его дочь, госпожа Тория Солль, которая царствовала в библиотеке, читала лекции и вершила научный труд в старом кабинете отца. Впервые в истории столь замечательного учебного заведения в святая святых науки была допущена женщина; Тория считалась достопримечательностью, поскольку была, ко всему прочему, безукоризненно красива и счастлива в браке, а мужем ее был герой осады, полковник Солль.

...Эгерт почтительно стукнул в тяжелую, до мелочей знакомую дверь. Тория восседала за огромным столом отца, простиравшемся перед ней, как усеянное фолиантами поле боя. С двух деревянных кресел с высокими спинками вскочили навстречу Соллю двое достаточно молодых еще профессоров. После церемонного поклона оба, заизвинявшись, сейчас же сослались на неотложные дела и шмыгнули прочь.

– Ты мне разогнал ученый совет, – сказала Тория.

Эгерт усмехнулся широко и плотно – будто сама мысль о бегстве ученых мужей доставила ему удовольствие. Гордо окинув взглядом опустевшую комнату, он плотно прикрыл за беглецами входную дверь.

– Что-то случилось? – неуверенно предположила Тория.

Эгерт двинулся через весь кабинет – так крадетсЯ барс, узревший в зарослях пятнистую спинку лани. Тория на всякий случай отступила под защиту письменного стола:

– Полковник, здесь храм науки!

Эгерт походя перемахнул через маленькую тележку на колесиках. Раскрытая книга на верхней полке испуганно всплеснула страницами.

– Полковник, брысь!

Солль ловко обогнул громаду письменного стола и очутился там, где Тория стояла за мгновение до того – но где ее уже не было, потому что, быстрая как ручеек в свои почти сорок лет, госпожа профессорша укрылась за высоким креслом:

– Караул! Незаконное нападение на мирных поселян!

Эгерт аккуратно уложил второе кресло на бок – чтобы противнику негде было спрятаться. Тория возмущенно завопила; некоторое время прошло в безжалостном преследовании улепетывающей жертвы – но полковник Солль так последовательно выкуривал беглянку из-за шкафов и портьер, что в конце концов изловил ее.

Строгая прическа Тории несколько пострадала.

– Это не по правилам... – отбивалась профессорша. – Сейчас же отпусти несчастную женщину.

– Я сделаю ее счастливой.

– Прямо здесь?!

– Где застигну.

– Полковник, что ты де... Сумасшедший Солль, сумасшедший, отпусти, иначе лекции...

– Лекции? – удивился Эгерт.

– Сорвутся... – блаженно выдохнула Тория в его смеющиеся глаза.

– Сорвутся лекции! – прошептал Эгерт в благоговейном ужасе. – Сорвутся!

Тогда она закрыла глаза, чтобы не видеть его лица, чтобы только чувствовать губами его губы, скулы и глаза. Ее ноздри раздувались от запаха Эгерта – запаха дома, свободы и спокойствия, дочери и сына; и Луар, и Алана унаследовали частичку запаха его кожи, это был лучший из известных ей ароматов.

– Давай сорвем лекции, – прошептал его голос в ее темноте.

– Имей совесть! – простонала она, наступая остроносой туфелькой на его мягкий ботфорт. – Это... нельзя, кабинет же!

Его руки чуть разжались, и ей пришлось сделать над собой усилие. Еще одно усилие за без малого двадцать лет супружества; почти двадцать лет Тория сражалась сама с собой – поразительно, как хрупка маска добропорядочной профессорши, если от одного прикосновения этого человека, ее полковника, ее Эгерта, ее мужа, вся выдержка и вся ученость уходит, как вода, обнажая на дне ее натуры неистовую, ненасытную, страстную желтую кошку...

Она задержала дыхание. Нельзя. Кабинет ее отца. Никогда.

В ту же секунду к запаху Эгерта примешался другой – запах свежесдобытой сдобы. Удивленная, она открыла глаза – и оказалась лицом к лицу с румяной круглой булкой. Мордочка булки испещрена была веснушками маковых зерен.

– Утоли плотскую потребность, – серьезно попросил Эгерт. – Твоя плоть голодна, потому что почти не завтракала. Я пришел, потому что знал – жену надо кормить вкусно и вовремя, только тогда она...

Тория разломила булку пополам и половинкой ее заткнула Эгерту рот. В какой-то момент она чуть не вспомнила, как много лет назад она протянула Соллю, своему заклятому врагу, такую же булку – потому что он был голоден и несчастен; она готова была вспомнить об этом – но не вспомнила. В ее жизни были вещи, которые она забыла навсегда.

Эгерт расправился с булкой в считанные секунды. Тщательно вытер с губ белые крошки и черные зернышки мака; улыбнулся:

– Пусть будут лекции. Сегодня. Пусть твои студенты бледнеют от зависти к твоему мужу... Я ухожу, Тор.

Уже в дверях он обернулся:

– Наш осенний пикник... ты помнишь?

Она кивнула.

– Луар хочет пригласить комедиантов. Пусть?

Она снова кивнула – слова Эгерта скользнули мимо ее сознания. Она смотрела, как он шагает через порог, как светлые волосы на затылке касаются ворота куртки, как закрывается за его спиной тяжелая дверь.

Какие там, светлое небо, лекции.

* * *

Флобастер задумал авантюру – испросить у городских властей разрешения играть в городе всю зиму. Я слышала, как он шептался с Барианом, кому следует дать взятку и какую; по денежным делам Флобастер иногда советовался с Барианом, и только с ним.

Я тихо обрадовалась – кому охота скитаться по зимним дорогам в компании простуженных волков, изображать фей на голодный желудок и обмахиваться веером, в то время как нос синее от холода; нет, на зиму любая труппа ищет пристанище – и что, если нашим пристанищем окажется не сеновал в глухой деревне, а какой-нибудь чистый дворик в стенах большого города!

Флобастер, однако, хмурился и морщил лоб, из чего я заключила, что дело это не простое и взятку придется давать немалую. С утра Флобастер надел свое лучшее платье (из «Игры о чародее»), Барриан нацепил шпагу и оба удалились в неизвестном направлении, оставив нас в растерянности и робкой надежде.

Парламентеры вернулись к обеду, и от одного взгляда на их хмурые лица всякая надежда приказала долго жить. Раздраженный Флобастер бранился, а Барриан, наоборот, молчал; только после наших долгих и униженных просьб он выдал из себя, что южане нас обошли – похоже, им покровительствует влиятельная особа, и потому бургомистр позволил им поставить палатку на рынке и давать представления до самой весны. Флобастера с Баррианом и слушать на стали – зачем городу целых две бродячие труппы?

– Даже денег не взяли, – заключил Барриан горько. – Что им наши гроши... Эти, вот, угодили какому-то – он за них замолвил... А мы не угодили, значит...

Я молча ушла к себе в повозку, села на сундук и укусила себя за палец. Никто из нашей труппы не знал, что известнейший в городе человек хохотал, как бешеный, над «Фарсом о рогатом муже» – и даже подарил мне монетку! Я могла бы стать героиней, явившись к господину Эгерту Соллю с просьбой о помощи; думаю, он не отказал бы. Вместо этого я сижу здесь, в сырых холщовых стенах, и грызу собственные руки: сама виновата! Кто ж заставлял меня насмеяться над Соллевым сыном, справлять малую нужду в колодец, из которого потом придется пить!

В какой-то момент я хотела рассказать все Флобастеру – но сдержалась. Слова, которые придется от него услышать, я с таким же успехом могу сказать себе сама.

Делать нечего; теперь, трясясь от холода в чистом поле или скучая в душном деревенском кабаке, я буду, по крайней мере, знать, за что наказана. Впрочем, впереди осталась еще неделя городской жизни; я со вздохом поднялась со своего сундука и принялась перетряхивать костюмы.

Незадолго до вечернего представления случилась еще одна неприятность. Перед подмостками, наскоро сооруженными прямо на улице, собирались уже первые зеваки – и один из них, тощий галантерейщик, положил глаз на Муху.

Муха приколачивал занавески – в руках молоток, и полон рот гвоздей. Галантерейщик долго стоял рядом, о чем-то расспрашивая; я готовила за кулисами реквизит и видела только, как Муха постепенно наливается краской. Потом галантерейщик протянул длинную как плеть руку – и погладил Муху по тощому задку; Муха развернулся и ткнул его молотком.

Слава небу, что в последний момент рука его дрогнула. И все равно галантерейщик упал как подкошенный, обливаясь кровью. Кто-то, не разобравшись, истошно завопил «убивают», и тут же, откуда не возьмись, возникла пара стражников.

Бледный Муха стоял, не сопротивляясь, а два красно-белых чудища держали его с двух сторон; выскочил Флобастер – да так и замер с раскрытым ртом, он-то не видел, как дело было. Видела я.

Только теперь я поняла, какие бывают вблизи блюстителю порядка. Они пахли железом, чесноком и казармой, брови у обоих были особым образом выстрижены, и они ни о чем не собирались разговаривать – будто глухие.

Не помню, что за слова я им говорила. Кажется, я хватала их за негнущиеся рукава мундиров, кажется, даже улыбалась; кто-то из собравшейся толпы встал на мою сторону, а кто-то стал кричать, что всех фигляров давно след засадить за решетку. Наконец, убитый галантерейщик завозился и застонал на земле, а Флобастер, соображавший на лету, тихонько зазвенел золотыми монетами; стражники насупили стриженные брови – и неохотно отступили, унося в рукавах нашу выручку за несколько дней...

Представление прошло вкривь и вкось. Муха запинаясь и забывал слова, и все по очереди шипели ему подсказку. Я шкурой чувствовала, как тает зрительский интерес, как расплзается,

подобно студню на солнце, внимающая нам толпа – и лезла из кожи вон, заполняя собой всю сцену.

После ужина, прошедшего в молчании, к Флобастеру подкатился круглый, как луна, парнишка и за монету платы сообщил, что цех галантерейщиков намерен подать на нас иск, и тогда нас оштрафуют, то есть отберут повозки. Впрочем, добавил парнишка, галантерейщики не держат на нас зла – просто ищут выгоду, где только возможно.

Черный как туча, Флобастер удалился – на этот раз в сопровождении Фантина; оба вернулись поздним вечером, причем глупый Фантин от души радовался счастливому, по его мнению, исходу дела. Зато на Флобастере лица не было, потому что от богатой праздничной выручки теперь почти ничего не осталось.

...Под утро мне приснился прият. Это был один и тот же повторяющийся сон – серый потолок над серыми рядами коек, длинное, как серая лента, лицо старшей наставницы: «А подите-ка сюда, любезная девица!» Алчно подрагивающая розга в узловатых пальцах...

Ночью шел дождь, и холщовые стены повозки хлопали, как мокрые паруса. Вздрагивая от падающих на лицо брызг, я лежала с открытыми глазами и слушала, как уходит из груди липкий, навалившийся во сне ужас.

* * *

Несколько дней Луар решал для себя, насколько оскорбительной можно считать странную выходку незнакомой девчонки-комедиантки; не придя к сколько-нибудь твердому заключению, он взял да и рассказал все отцу.

Полковник Солль смеялся долго и смачно; оказывается, сам он не так давно подарил монетку некой симпатичной актрисе. Кстати, какая-то труппа разбила палатку на рынке – если Луару интересно, он вполне может вручить своей «старухе» денежку, признав тем самым ее несомненный талант.

Рыночная палатка-балаганчик снабжена была цветными флажками на крыше и зазывалой у входа. В толпе зевак Луар чувствовал себя неуютно и скованно; представление показалось ему пошлым и скучным одновременно, среди актрис была настоящая сморщенная старуха – но Луаровой знакомой не оказалось, и приготовленная золотая монетка осталась невостребованной.

Луар ушел задолго до конца представления; при выходе он наконец-то догадался спросить зазывалу, а не труппа ли это господина Флобастера.

Парень оскорбился так, будто Луар обвинил его в святотатстве:

– Нет! Конечно, нет! Это труппа господина Хаара! Это, молодой человек, лучшая труппа от предгорий до самого моря!

Он набрал воздуха, намереваясь, по-видимому, продолжить свои славословия – но Луар опередил его вопросом:

– А где найти труппу господина Флобастера?

Зазывала сморщился, как человек, поедающий живую жабу:

– О... Они, наверное, уже уехали.

Луар ощутил не то чтобы огорчение – так, разочарование. Как будто пирог с вишнями на самом деле оказался капустной запеканкой.

Он брел по улицам, пытаясь самому себе объяснить, а зачем, собственно, ему понадобилось дарить денежку этой лгунье и притворщице; скорее всего затем, чтобы собственную неловкость – надо же, купился на лицедейство! – представить как спектакль, развлечение, за которое положено платить деньги...

Сумасшедший старик в рваном плаще служителя Лаш неподвижно стоял в чаше фонтана – высохшего фонтана, в центре которого, говорят, раньше помещалась статуя Священного при-

видения. Какая-то добрая рука положила рядом со стариком кусок хлеба; на глазах Луара хмурая пожилая женщина растоптала этот хлеб ногой. Старик остался совершенно безучастным.

Странно, что его до сих пор не забили камнями, подумал Луар. В детстве отец высек его за один только меткий бросок – а сам, мудрый и выдержанный человек, цепенеет от ненависти всякий раз, когда сталкивается с немощным, дряхлым, безумным старцем... Тайна. Тайна еще более глубокая, чем разрытая могила, из которой двадцать лет назад явился вызванный орденом Лаш Черный Мор. Бесполезно расспрашивать отца о Лаш – он замыкается, как та заколоченная Башня на площади...

Луар замедлил шаг. Подобные мысли посещали его не часто – но по уходе всегда оставляли смутное беспокойство пополам с неким болезненным возбуждением; вот и сейчас ему ни с того ни с сего померещился пристальный взгляд, брошенный ему вслед совершенно незнакомым человеком.

Несколько секунд Луар ругал себя за странную мнительность и клялся, что не обернется; потом обернулся-таки – незнакомец был немолод, равнодушен, смотрел, конечно, мимо Луара, на витрину ювелирной лавки. Вероятно, он собирался показать оценщику некое украшение – из ладони его свисала золотая цепочка...

На мгновение Луар нахмурился. Ему показалось, что он уже видел этого человека и вот именно с цепочкой – только не удавалось вспомнить, где и когда...

В этот самый момент мимо проследовали две горожанки – радостные и оживленные, они весело болтали на всю улицу, и Луар ясно расслышал слово «комедианты». Он вздрогнул и забыл о золотой цепочке; вслед за парой горожанок заспешила компания мальчишек, потом некий приличного вида господин с нарочито отсутствующим, гуляющим видом. На улице сделалось вдруг неожиданно многолюдно – и Луар совсем почти не удивился, когда на открывшемся перед ним перекрестке обнаружилась небольшая толпа. В центре толпы возвышались подмости, с обоих боков подпираемые крытыми тележками. С подмостков доносилось звонкое:

– А ежели колдун без сердца Меня замучить пожелает Подобно маленькой пичуге – Пусть знает, что во тьме могилы Я буду о тебе, любимый, Я буду помнить в черной яме О том, кого я так любила...

Декламировала девица – тонкая, как стебелек, с разбросанными по плечам светлыми волосами; нежный голосок вполне равнодушно перечислял самые душераздирающие обещания. Луар понял, что уже в следующую минуту ему сделается невыносимо скучно.

Он решил уходить – но все-таки стоял, раздумывая и поглядывая по сторонам; пьеса благополучно подошла к концу, какая-то толстая дамочка из публики утерла слезу. Актеры раскланялись, с подмостков соскочил парнишка лет шестнадцати и пробежался по кругу с жестяной тарелочкой; послышалось реденькое звяк-звяк-звяк медяков о доньшко. На лице парнишки проступило столь явное разочарование, что Луар не удержался и бросил серебряную монетку. Парень чуть повеселел, взобрался обратно на подмости и объявил, что сейчас почтеннейшая публика увидит фарс о Трире-простаке.

Луар улыбнулся. Давным-давно, когда отец чуть ли не впервые взял его... На охоту? Или это было что-то вроде военного смотра? Луар запомнил только солнечный день, много лошадей, густой лошадиный запах, синее небо и дымящиеся каштаны на дороге, Луар в седле за спиной отца, весь мир лежит внизу, маленький и яркий, как картинка на крышке шкатулки. На обратном пути кавалькаде встретилась какая-то ярмарка – Луар точно помнил, что бродячий театрик играл именно этот фарс, о Трире-простаке. Простак идет с базара, где продал корову, а по дороге ему встречаются всевозможные хитрецы и выманивают понемногу все его денежки...

Над головами публики взвизгнул детский голос – строгая нянька оттаскивала от окошка едва не выпавшего оттуда сорванца. Цветочный горшок не удержался на подоконнике и сорвался вниз, чтобы со звоном расколоться о мостовую; сидевший под окном нищий увернулся с прытью, неожиданной для калеки, и тут же разразился громкой бранью. Надтреснутый вопль нищего на минуту перекрыл голос Трира-простака, крупного мужчины лет пятидесяти; озлившись, тот взревел, как ведомое на бойню стадо. Публика заплодировала; Луар повернулся и пошел прочь.

– Да где ж пять монет, когда тут четыре монеты! – продребезжал ему в спину старушечий голос.

Так рыбина заглатывает сдобренный червем крючок. Луар вздрогнул и обернулся.

Старуха с головой утопала в просторном плаще, наружу торчали только седые космы. Танцует и приседая, окружая несчастного простака сразу со всех сторон, старая мерзавка вытягивала из него монету за монетой – Луар тут же вообразил, какое у нее может быть лицо. Ухмыляющаяся рожа прожженной плутовки...

– Да где же четыре, когда три монетки всего! Сочти хорошенько, растяпа!

Трир-простак изо всех сил старался сосредоточиться. Маленькие глаза его напряженно моргали; Луар поймал себя на некотором сочувствии – Трир был сейчас его собратом по несчастью, его вот также провела эта самая старуха, это он, Луар, растяпа...

Ощущение сродства с персонажем фарса рассмешило его; он усмехнулся – впервые с начала представления.

Впрочем, прочая публика уже давно надрывала животы. Приличный господин позабыл о приличиях, да так, что ненароком пустил ветры. Сразу же вслед за этим он побагровел, как роза, и воровато огляделся – по счастью, за всеобщим весельем почти никто ничего и не услышал.

– Э-э, парень, да у тебя дыра в кармане! Смотри, всего одна монетка и осталась!

На глазах Трира-простака выступили настоящие слезы. Публику потряс новый взрыв хохота; один Луар стоял без улыбки, как каменный остров в бурном море. Ему было жаль Трира.

Один за другим последовали еще несколько коротеньких фарсов. Луар по-прежнему не смеялся – но стоял, как приклеенный. На подмостках сменяли друг друга хитрецы и дураки, злодеи и жертвы – и тут и там возникала горластая, как петух, девчонка. Вместе с платьем она всякий раз меняла лицо – пересмешница, пляшущая на гребне куража, неудержимая, как хлынувшее из горлышка шипучее вино; ее партнеры мелькали, как карты тасующейся колоды. Временами Луару казалось, что перед ним раскладывают большой и яркий пасьянс.

Наконец, щуплый парнишка, не успевший еще отдышаться после громкой сценической перебранки, соскочил с подмостков со своей тарелочкой; на этот раз звяк-звяк-звяк оказалось куда бодрее, в горстке медяков поблескивало и серебро. Луар замялся, снова испытывая неловкость; потом осторожно положил на поднос золотую денежку, кивнул обомлевшему парню и пошел прочь.

* * *

За занавеской Муха толкнул меня локтем:

– Во, там благородный со шпагой стоит... Хоть бы хихикнул, да?

Я смолчала. Я заметила «благородного» раньше; Муха, в отличие от меня, не подозревал, что, возможно, на нас надвигается следующая крупная неприятность. Успокаивало одно – его великолепного отца поблизости не было, полковник Соль – не иголка, его просто так на площади не спрячешь.

– Шел бы себе, раз не нравится, – бурчал под нос Муха. Я переодевалась, шурша множеством юбок, сгоряча втыкая в себя булавки и охая сквозь зубы, – Муха даже не удосужился отвернуться. Он вообще меня не видел – перед ним стояла не полуголая девица, а старый товарищ, выполняющий привычную работу.

– За «Единорога» мало дали, – продолжал бормотать Муха. – А сейчас ржут – так раскошелятся... Хотя бы немножко... покрыть... расходы-то...

Я знала, как мучится бедняга из-за истории с галантерейщиком и последовавшими за ней тратами. Хорошо бы визит Солля-младшего не обернулся новой бедой.

Стиснув зубы, я честно отработывала фарс за фарсом; мой старый знакомец не смеялся, но и не уходил, и с каждой минутой у меня становилось все тяжелее на сердце.

Наконец, мокрый от пота Флобастер велел Мухе отправляться за платой. Из-за занавески я разглядела, как Солль-младший бросил что-то на тарелку; когда Муха вернулся, глаза его были круглы, как блюдечко для денег:

– Во бывает, а! Стоял, хоть бы хихикнул!

И триумфальным жестом Муха воздел над головой новенькую золотую монету.

У меня было ровно два мгновения, чтобы сообразить и решиться.

– А-а! – завопил Муха. – Ты чего делаешь?!

Стиснув в кулаке отвоеванный золотой, я откинула полог и соскочила на землю. Вслед мне летели обиженный Мухин вопль и густое Флобастерово «заткнись».

Толпа разбрелась; на меня удивленно косились, кто-то засмеялся и попробовал заговорить. Не удостоив беднягу ответом, я уже через секунду была на месте, откуда наблюдал за представлением Солль-младший. Теперь там было пусто, только нищий у стены с готовностью протянул ко мне руку и завел свое «Подай». Я растерянно оглянулась – и увидела спину, удалявшуюся в переулок за квартал от меня.

Мои башмаки ударили по камням мостовой. Для того, чтобы быстро бегать, надо точно знать, куда и зачем бежишь.

Он шарахнулся – слава небу, это точно был он, я не спутала его спину ни с какой другой спиной. Присев в реверансе, я попыталась унять бешеное дыхание; он явно не знал, чего от меня ждать – и смотрел, пожалуй, даже опасно.

– Господин... – пробормотала я, смиренно опустив глаза. – бедные комедианты... не заслуживают столь высокой платы. Вы, наверное, ошиблись монеткой, – и я протянула ему его золотой.

Он удивился и долго молчал, переводя взгляд с меня на монетку и с монетки на меня. Потом сказал медленно и осторожно, будто пробуя на вкус каждое слово:

– Нет... Почему же. Я думал... Что это вознаграждение... как раз соответствует.

Ему было неловко; он не знал, что говорить дальше, стоит со мной прощаться или следует просто повернуться и уйти. Я присела еще ниже – в благодарном порыве, и, глядя снизу вверх на его лицо, окончательно уверилась, что он не держит зла.

И еще. Я почему-то решила, что разрешение бургомистра у нас почти что в кармане.

* * *

Ехали весело. Флобастер, непривычно разговорчивый и оживленный, правил первой повозкой; я сидела за его спиной, укрывшись пологом от осеннего ветра. Наружу торчала одна лишь моя голова, с гордостью и самодовольством взиравшая по сторонам; гордость и самодовольство не сходили с моего лица вот уже несколько дней, и с этим решительно ничего нельзя было поделать.

Господин Луар Солль замолвил за нас словечко перед своим отцом, господином Эгертом Соллем, который, оказывается, и без того оценивал наше искусство как совершенно заме-

чательное. Господин бургомистр подписал приказ без единого слова, с одной только милой улыбкой – и вот мы зимуем в городе, обеспеченные милостью знатной особы и освобожденные к тому же от половины всех причитающихся податей. Мало того – вчера мы получили приглашение играть в загородном имении господина Солля на каком-то семейном празднике, и сам господин Луар выехал нам навстречу чтобы не сбились с пути и прибыли вовремя.

Пегая лошадка, запряженная в нашу повозку, уныло косилась на высокого тонконового жеребца, имевшего всадником молодого Солля. Луар то вырывался вперед, позволяя любоваться своей по-ученически прямой посадкой, то придерживал жеребца и ехал бок о бок с повозкой. Ему снова было не по себе – он боялся опуститься до панибратской болтовни, но и не хотел обижать нас высокомерием.

Флобастер в свою очередь понятия не имел, о чем следует разговаривать с парнем, который лишь немного старше Мухи – но которому впору именоваться «благодетелем». Вымученный разговор хромал, как трехлапая собака, пока я не сжалилась наконец и не задала единственный вопрос:

– Прошу прощения, господин Луар... А как случилось, что имя вашего отца сделалось таким известным в городе?

Он зарделся. Он выпрямился в седле, и его школьная посадка сделалась посадкой первого ученика. Он набрал в грудь воздуха, и с этой минуты нам с Флобастером осталось только ахать и восхищенно вздыхать.

Этот парень знал наизусть всю историю осады, во время которой ему вряд ли было больше шести. Он называл по имени всех командиров и предводителей, не забывая сообщить, что такой-то оказался трусом, а такой-то был храбр, как гром, и именно по храбрости и скудоумию загубил вверенных ему людей. Он подробно объяснял, в чем же заключалась миссия его отца – но увы, ни я, ни Флобастер не понимали и половины этих военных терминов, названий, оборотов; одних только пушек на стене было пять разновидностей, и оттого, какой ярус пальнет первым, зависел, как я поняла, исход целой битвы...

Впрочем, один момент из рассказа Луара я вдруг увидела, будто своими глазами.

...Это случилось в самый тяжелый день осады, когда силы защитников были подорваны, а осаждавшие, наоборот, дождались подкрепления и полезли на стены; увидев катящуюся на город орду, ополченцы-горожане оцепенели, лишились воли и обреченно опустили руки. Ни одна пушка не выстрелила и ни одно ведро с кипящей смолой не опрокинулось вниз, город готов был покорно захлебнуться в подступающих мутных волнах – когда на башню выбрался Эгерт Солль, и вместо флага в руках его была цветная детская сорочка.

Неизвестно, о чем думал в тот момент молодой еще Эгерт, за чьей спиной были оставшиеся в городе жена и маленький сын. Сам он наверняка не помнит, думал ли он о чем-нибудь вообще. Он кричал, кричал неразборчиво, замершие у орудий люди слышали только неистовый приказ – новый предводитель, еще не будучи признан, успел уже сорвать голос. Детская сорочка билась на ветру, умоляюще всплескивала рукавами – и каждый, смотревший в тот момент на Солля, сразу вспомнил о тех, кто остался в городе. О тех, кого ни один мужчина никогда и ни за что не должен отдавать врагу.

Непонятная сила, исходившая в тот момент от оскаленного, разъяренного Эгерта, захлестнула защитников, как петля; навалив под стенами горы собственных тел, нападавшие откатились – в ярости и недоумении.

Говорят, он молчал все последующие дни осады. Он молчал, уводя на вылазку маленькие отряды – огромная, угнездившаяся вокруг города орда ворочалась и металась, как лев, атакуемый шершнем, потому что отряды Эгерта приходили ниоткуда, налетали молча и в тишине растворялись в нигде. Он молчал, меняя расстановку пушек и катапульт; командование обороной перетекало в его руки из рук нерадивых, растерявшихся или попросту более слабых начальников – так нити, стекающиеся к ткацкому станку, превращаются в полотно. Нанеся

врагам несколько ощутимых ударов, он вдруг занялся городом и за один день навел порядок в осажденной твердыне – хлебные склады были оцеплены, два десятка мелких воров насильно отправлены на стены, а банда сытых разбойников, грабящих и мародерствующих среди общей паники, оказалась рядком развешенной перед городскими воротами... Много лет спустя Солль признавался сыну, что ему легче было совершить десять вылазок, чем один раз отказать казнимым в помиловании.

Осада тянулась много долгих дней. Нападавшие оказались в положении лисицы, загнанной в угол кролика и вдруг обнаружившей, что у жертвы по десять когтей на каждой лапе и полон рот клыков. Как бы там ни было, но однажды утром горожане посмотрели со стен – и не увидели никого, только черные пятна костров, брошенные осадные машины да наваленные в беспорядке мертвецы...

Я перевела дыхание, только сейчас обнаружив, что не разглядываю из бойницы оставленное врагами поле боя, а трясусь в повозке по разбитой осенней дороге. В горле моем стоял ком – что поделаешь, актрисе положено быть слегка сентиментальной... Луар замолчал, щеки у него горели, глаза сверкали – я мимоходом подумала, что из парня вышел бы неплохой актер, по крайней мере рассказчик – великолепный...

Флобастер озадаченно щелкнул хлыстом над головой пегой лошадки. Я улыбнулась вдохновленному Луару:

– Таким отцом... можно гордиться. Думаю, ваша матушка... самая счастливая из женщин, правда?

Он запнулся, решая, можно ли рассказывать нам с Флобастером то, о чем ему мучительно хотелось поведать; совсем уж было превозмог себя и решил не рассказывать – но в последнюю минуту не удержался-таки.

Мать его, оказывается, в юные годы побывала в какой-то серьезной переделке – ее арестовали и едва не приговорили к смерти за несуществующую вину, а масла в огонь подливал орден Лаш, в особенности один его служитель по имени Фагирра. Свидетелем по делу выступал Эгерт – он-то и сумел добиться оправдания будущей Луаровой матери, а потом в схватке с Фагиррой убить его. Все это случилось вскоре после Черного Мора – люди не сразу, но узнали-таки, что Мор вызван был орденом Лаш, и учинили стихийную расправу... Фагирра, вдохновитель негодяев, пал одним из первых.

По мере того, как Луар говорил, в голове у меня возникал и оформлялся дикий на первый взгляд, но ужасно привлекательный план.

Даже Флобастер оторопел, когда я, запинаясь, выложила свое предложение. Луар, кажется, едва не выпал из седла; в какой-то момент я испугалась, что он оскорбится.

– Но... – выдавил он неуверенно. – Вы это... серьезно?

Я ощутила прилив куража: это более чем серьезно, это замечательно, это станет гвоздем праздника и памятью на долгие годы. Это доставит удовольствие господину Эгерту – если же господин Луар сомневается, а пристойно ли это, то я с полной ответственностью заверяю, что в игре на сцене нет ничего унижительного даже для самого благородного вельможи, это ведь игра, а не заработок, это шутка, розыгрыш, это забавно, господин Луар повеселится от души...

Он сомневался – и тогда в бой пошел Флобастер. Он, оказывается, помнил множество случаев, когда в героических ролях пробовали себя князья и бароны, герцоги и принцы... Господин Луар наделен природной грацией, нужно лишь найти подходящий сюжет...

И тогда я предложила сюжет. Луар заморгал, пытаясь удержать расплывающийся в улыбке рот, еще чуть помялся – и согласился.

Загородный дом семейства Соллей оказался добротным, располагающим к себе строением, удобно уместившемся на берегу неширокой речки. Нанятые на день слуги коптили мясо под открытым небом – учуяв этот запах, Муха потерял способность думать о чем-нибудь, кроме

пищи. Флобастеру пришлось тычком напомнить, что мы пока не заработали и корочки хлеба а значит надо ставить подмости, развешивать занавески и готовиться к представлению.

Впрочем, добрый господин Эгерт и без Мухиной подсказки сообразил, что актеров следует накормить. Улыбчивая служанка притащила нам две больших корзины – Флобастер позволил нам съесть только половину замечательной снеди, потому что «набитый живот – не работник».

Зрителей у нас предполагалось немного – со слов Луара я узнала двух университетских профессоров с женами, старикашку ректора, какую-то невыразительную компанию горожан – очевидно, ветеранов осады. Гости веселились, как могли – душой компании был Солль, и все как один дамы, включая и служанок, поедали его восхищенными, восторженными глазами.

Я поймала себя на том, что не могу смотреть на «господина Блондина» по-прежнему. Принимая от него монетку, я видела его красавцем, красавчиком, лакомым кусочком с чужого стола – теперь передо мной был человек, сорвавший голос на крепостной башне, человек, поднявший вместо флага рубашку своего маленького сына...

Я снова порадовалась за свою удачную придумку. Пусть для Эгерта Солля я навсегда останусь просто забавной девчонкой, актриской, каких много – все равно я преподнесу ему этот подарок, «Игру об Эгерте и Тории»...

Торию, мать Луара, я видела мельком – очень красивая и, по-моему, очень высокомерная женщина. По одному только взгляду, брошенному Соллем на жену, с уверенностью можно было определить, что все дамочки, кушавшие господина Эгерта глазами, обречены на позорную неудачу.

Голосистая девчонка под присмотром няньки оказалась Луаровой сестрой – я удивилась разнице в возрасте между Соллевыми детьми. Малышку звали Аланой, и ее безумно интересовали наши тележки, лошади, сундуки и собака. Она провела бы весь вечер в нашем обществе – если б пожилая нянька не увела ее ужинать, а затем спать.

Двор за каменным забором оказался идеальным местом для подмостков. Муха колотил молотком, как дятел; мы с Гезиной разбирали костюмы, попутно придумывая наряды для героев предстоящей пантомимы. Луар нет-нет, да и заглядывал за занавеску – на лице его блуждала нарочито равнодушная улыбка, за которой ненадежно пряталось любопытство.

Из всех ролей будущей пантомимы он выбрал, конечно, роль своего отца; мне пришлось долго объяснять ему, что так, к сожалению, не делается – благородные герои пантомимы скрывают лица под еще более благородными масками, а оставить лицо открытым может только злодей. Пусть он, Луар, выбирает – играть под маской, чтобы родители его даже не узнали, или рискнуть выступить в роли злого Фагирры?

Он долго мялся и мучился – но, как я и предполагала, прятаться под маской не захотел; это ведь только игра, объяснил он, будто оправдываясь. В игре Фагирра не тот мерзавец, каким он был в жизни – это шутка, обещает быть забавно... Все остались довольны этим его решением – кроме Фантина, у которого отобрали хлеб.

Понемногу гости перекочевали из-за стола во двор; мы поклонились в ответ на жидкие аплодисменты и сыграли без передышки «Рогатого мужа», «Трира-простака» и «Жадную пастушку».

Мне сотни раз приходилось наблюдать, как равнодушная, «дикая» публика перед нашими подмостками становится публикой азартной, веселой, «домашней». В тот вечер прекрасная метаморфоза оказалась особенно впечатляющей.

Даже старикашка-ректор вплетал в общий хохот свое дребезжащее «хи-хи». Невыразительная компания горожан сразу сделалась обаятельной и милой; профессорские жены порозовели, а сами профессора казались шкодливее любого студента. Все мы работали в охотку – так бывает, когда стараешься не из-за денег, а из одного только удовольствия. Даже Гезина казалась естественнее обычного, а Флобастер вообще превзошел сам себя.

Эгерт Солль смеялся, как сумасшедший, и улыбалась его жена; Луар пристроился в первых рядах, нервно комкая полу своей куртки и маясь в ожидании пантомимы.

Наконец, Муха объявил короткий перерыв; публика осталась на местах, веселясь и попивая вино, а за кулисами развернулась лихорадочная подготовка к действию, которое должно было стать гвоздем программы.

Гезина и Муха помогли Луару облачиться в широкий серый плащ с капюшоном, благо такой нашелся у нас в сундуках. Никто не знал точно, похож ли Луаров наряд на облачение служителей священного привидения Лаш но пантомима есть символ, а не настоящая картинка из жизни. Главное, чтобы зритель понял, о чем идет речь.

Бариян и Гезина надели маски – очень дорогие медные маски, соперничающие в красоте с лицами супругов Солль, но только совсем на них не похожие. Муха приготовил лист жести – для грома и молнии, они ведь обязательно должны быть во всякой героической истории. Флобастер и я в оба уха нашептывали Луару сюжет предстоящего действия – в сотый раз, и ребенок бы запомнил.

Сюжет был прост и эффектен: госпожа Тория любит господина Эгерта, злодей-Фагирра разлучает влюбленных и пытается погубить прекрасную Торию – но храбрый Эгерт отвоевывает невесту и сочетается с ней браком...

– И убивает Фагирру, – шептал Луар, как сомнамбула. – Дайте Барияну кинжал...

Он краснел и бледнел попеременно – мне приходилось все время напоминать ему, что это всего лишь игра, шутка, не надо так волноваться... Но он волновался все равно. Первый выход на сцену есть первый выход на сцену.

Флобастер настроил лютню, пожевал губами и дал знак начинать.

– «Игра об Эгерте и Тории!» – объявил Муха, и публика запереглядывалась, загалдела, повторяя друг другу столь интригующее название. Госпожа Тория зарделась и вопросительно глянула на мужа – тот насмешливо закатил глаза под лоб.

Я спряталась за занавеской таким образом, чтобы видеть происходящее на сцене – и в то же время наблюдать за господином Эгертом. Флобастер коснулся струн – и пантомима началась.

С первых же мгновений сделалось ясно, что, подбив Флобастера на столь рискованную импровизацию, я не прогадала – наш успех удесятерится и принесет в будущем еще много выгод и удобств. Впрочем, шкурные интересы остались где-то на краю моего внимания, потому что гораздо интересней было знать, как примет господин Эгерт предназначенный ему дар.

Бариян и Гезина танцевали медленный танец любви – знакомое дело, без подобного танца не обходится ни одна драматическая история, которых эта парочка переиграла во множестве... Но публика-то этого не знала, для них грациозный балет был юностью Эгерта и Тории, ни больше и ни меньше! Аплодисменты начались со второй же минуты действия.

Я затаилась: главное-то впереди! Лютня зазвучала зловеще, и на сцену неуклюже вывалился Луар – знаю, помню это чувство, когда ноги подгибаются и ладони потеют, и губы будто ватные... Но молодой Солль, к его чести, очень скоро справился со страхом первого выхода – и я снова пожалела, что этот парень никогда не будет актером. Его, пожалуй, любая труппа отхватила бы с руками.

Зрители замерли; все они знали, конечно же, историю Соллей, им не надо было объяснять, кто этот злодей в плаще с капюшоном, почему он так свиреп и куда тащит несчастную героиню (тут, правда, случился небольшой прокол – во-первых, Луар стеснялся ухватить Гезину как следует, а во-вторых, он не знал, что с ней делать. Случилась заминка – «Фагирра» попросту тянул «Торию» за кулисы, она упиралась, а «Эгерту» оставалось только заламывать руки).

Зритель, однако, был столь доброжелателен, что шероховатости не заметил. Луаровы родители сидели, взявшись за руки, и плевать им было, что вокруг полно народу. Госпожу

Торию забавляло не столько содержание пьесы, сколько появление сына на подмостках бродячего театра; господин Эгерт, думаю, готов был сорваться с места и присоединиться к персонажам пантомимы. Оба казались веселыми и возбужденными сверх меры.

Лютня разразилась аккордом – «Эгерт» выхватил кинжал. Луар, как истинный злодей, попытался заслониться «Торией» – вот до чего вошел в роль! Проворный Бариан ловко всадил оружие Луару под мышку – тот не сразу понял, что убит, а догадавшись, свалился в весьма талантливой конвульсии. Бариан с Гезиной даже не успели станцевать финальный танец победы – зрители вскочили с мест, наперебой выражая свой восторг.

Актеры раскланялись. Бариан и Гезина сняли маски – но героем вечера оказался, конечно, Луар, переставший наконец корчить злодея и облегченно обмахивающийся краем капюшона. По-видимому, импровизация оказалась для него немалым испытанием; я мимоходом подумала, что он повзрослел, от переживаний, что ли...

Когда я оторвала взгляд от Луара и снова отыскала Солля-старшего, на Эгертовом лице еще лежал след недавней улыбки. След веселья не успел уйти из уголков рта – но мне вдруг сделалось холодно до дрожи.

Еще смеялись гости, еще раскланивался вспотевший Луар, что-то говорила госпожа Тория; на моих глазах с лица Эгерта, оказавшегося за спинами всех, опадали уверенность и счастье – так куски плоти опадают с мертвой головы, обнажая череп. Он смотрел на сына, смотрел на отрываясь, и я доселе я ни в чьем взгляде не видела такого безнадежного, затравленного, такого всепожирающего ужаса. Казалось, Солль смотрит в лицо самому Черному Мору.

Мне стало нехорошо; смех начал стихать постепенно – будто одну за другой задували свечи. Гости по очереди поворачивали голову к хозяину праздника – и слова застревали у них в горле. Тория Солль стояла перед мужем, сжимая его руку, заглядывая в глаза:

– Эгерт... Плохо? Что? Эгерт, что?

Его губы дернулись – он хотел что-то ответить, но вместо слов получилась лишь гримаса. Луар сорвался с подмостков, подбежал, подметая землю полами плаща, схватил отца за другую руку; Эгерт – или мне показалось – содрогнулся, как от раскаленного железа.

Все говорили разом – сочувственно и ободряюще, нарочито весело и тревожно, вполголоса; служанка принесла воды, но Эгерт отстранил предложенный стакан. Кто-то выкрикнул, что при головокружении полагается бокал доброго вина, кто-то предлагал подкрепиться. В окружении многих лиц я то и дело теряла белое лицо господина Эгерта – а вокруг него столпились все, и Муха, и Флобастер, и Фантин, и какие-то кухарки, и кучер – слуги, похоже, все его очень любили. Только я одна стояла в стороне, у занавески, и рука моя без всякого моего участия терзала и комкала несчастную ткань. Мне казалось, что случилось что-то очень плохое. Ужасное.

Наконец, Солль освободился из рук жены и сына. Толпа чуть расступилась; не оглядываясь и ни на кого не поднимая глаз, господин Эгерт нетвердой походкой двинулся к дому.

* * *

...Он опомнился. Дождь наотмашь хлестал в лицо, лошадь едва держалась на ногах, вокруг расстилались пустые поля с комьями коричневой земли, рябые лужи под низким небом, ватный, безнадежный, осенний мир но самое страшное, он не мог понять, рассвет или закат прячется за глухим слоем туч.

Он поднял голову, подставляя впалые щеки дождю. На минуту пришло забвение – он ощущал только холод бегущих капель, ледяное прикосновение ветра да глухую боль в спине; он растворился в холоде и боли, смакуя их, как гурман смакует новое блюдо. Холод и боль давали право не думать больше ни о чем. Еще минуту. Еще мгновение покоя.

Потом он вспомнил, и несчастная лошадь истошно заржала, роняя пену и кровь с израненных шпорами боков, заржала и кинулась вперед, не разбирая дороги и поражаясь невменяемому поведению доселе доброго хозяина.

Эгерт кричал. Его никто не слышал, только серое небо и дождь.

У него не было оружия, чтобы покончить с собой.

* * *

...Луар наступал на меня, вращая глазами:

– Это... игра! Это... ты... Я чем-то... оскорбил его, я не должен был...

– Не говори ерунды, – мать его, госпожа Тория, казалась воплощением бесстрастности. – Спектакль тут ни при чем. Отцу понравился спектакль. У него просто закружилась голова, такое бывало и раньше, нужно дать ему время прийти в себя, а не раздражать причитаниями... Возьми себя в руки, Луар!

Я молча восхитилась – не женщина, кремень. Луар подобрал губы, покосился на меня с упреком и, ведомый матерью, ушел в дом.

На том праздник и закончился. Гости попытались смыть неприятный осадок остатками вина, так их, пьяненьких, и уложили спать, благо комнат в доме было в достатке. Нас тоже хотели пригласить в дом – но Флобастер вежливо отказался.

В ту ночь я не спала ни секунды, и потому у меня появилось вдруг множество времени – целая вечность – чтобы на все лады размышлять. Размышлять – в чем же и как я провинилась перед господином Соллем.

В полночь из дому вышел человек – лица в темноте не разглядеть, – вывел оседланную лошадь, вскочил верхом и ускакал, едва перепуганный сонный слуга успел отпереть ворота. Следом вышла женщина и отослала слугу; ветер раскачивал фонарь в руках женщины, она долго стояла на дороге, и я видела пляшущие по двору тусклые блики.

Она простояла до утра. Фонарь догорел, всадник не вернулся; под утро хлынул дождь.

* * *

Тория солгала сыну – может быть, первый раз в жизни. Никогда у Эгерта Солля не кружилась голова.

Никогда раньше не случалось, чтобы муж ушел, не проронив ни слова. Со всеми болями и несчастьями он шел к ней – к ней, а не от нее.

Пламя фонаря металось в стеклянных стенках. Тории казалось, что ночь пришла навсегда и закончился сон о том, что она женщина, она счастлива и счастливы ее муж и дети...

Тории казалось, что она мертвое дерево у обочины.

В доме спала Алана. Спала старая нянька, спали гости, друзья, такие милые вчера и такие ненужные теперь. Эгерт ушел, после его ухода у Тории не осталось друзей; даже на утро после смерти отца Тория не была так внезапно, так болезненно одинока.

Она не могла быть под крышей. Она вообще не желала быть.

* * *

...Мы выехали на рассвете, и за всю дорогу никто не сказал ни слова.

Тяжело вздрагивали мокрые холщовые стены. Флобастер погонял пегую лошадку, она обреченно месила копытами грязь, а дождь молотил ее по спине, и впору было подумать об

укрытия – но Флобастер погонял решительно и зло, и мне порой хотелось поменяться с лошадью местами.

Чтобы волочить ноги по размытой глине. Чтобы тянуть повозку и чувствовать кнут. Чтобы искупить ту странную и ужасную вину, которой я виновата перед Луаром и его отцом.

Его потрясли воспоминания? Он не в силах видеть Фагирру, даже на сцене? Он смеялся и сжимал руку жены, он улыбался, когда актеры вышли на поклон...

Мужественный человек. Человек, поднявшийся на башню и поднявший за собой защитников... Человек, отдавший приказ повесить десяток – да, бандитов, но повесить же! И вдруг такое лицо...

Свистнул кнут Флобастера. Я вздрогнула, будто на самом деле ударили меня.

Бей. Потом разберемся, за что...

* * *

Порыв ветра снова привел его в чувство.

Пустое серое небо и пустые поля; в мире не осталось людей – только сын, его мальчик, его гордость, его надежда, плод самой чистой на свете любви. Лицо Луара в обрамлении просторного серого капюшона – и проступившее сквозь него другое лицо, в таком же капюшоне, другое лицо, и небо! – ТО ЖЕ САМОЕ ЛИЦО! Усталый добродушный взгляд, узкие губы, серо-голубые, как у самого Эгерта, глаза...

Двадцать лет назад он убил этого человека. Он всадил ему в грудь не кинжал, как потом утверждала молва. Нет, он проткнул Фагирру острыми рукоятями железных клещей – клещей палача...

Лошадь зашаталась. Эгерт сполз с седла, лег на землю, уронив лицо в ледяную лужу. Дождь плясал на его спине.

...Клещи палача. Тория в камере пыток. Шрамы... не сошли до сих пор, об этом знает лишь Эгерт – да пара поверенных горничных. Он убил того человека – и свято верил, что вместе с ним загнал в могилу все самое страшное, что было в их с Торией жизни...

И ведь он видел раньше. Видел – и не желал понимать, откуда те приступы глухого беспокойства, которые он давил под пятой своего безусловного заслуженного счастья...

Почти двадцать лет. День в день. Десять с лишним лет...

Окровавленные рукояти торчали из спины. Агония... На другой день преступление ордена Лаш раскрылось, горожане начали самосуд... А Фагирру, он слышал, так и закопали – с клещами палача...

Закопали. Его закопали – а он дотянулся из могилы. Он отомстил так, как мстят лишь изощренные палачи – он...

Перед глазами Солля переступали грязные копыта измученной лошади. Эгерт закрыл глаза – и зря, потому что веселое лицо Луара в обрамлении капюшона было уже тут. Только из глаз сына смотрел Фагирра: «Так-то, Эгерт. Я знал, что рано или поздно захочешь оказаться там, где сейчас я. Тебе следовало дать себя убить, Солль. Тебе не стоило противиться неизбежному и бороться за жизнь женщины, которая уже тогда – уже тогда! – несла в себе мое семя. Вот тебе подарочек из могилы – сынишка, которого ты любил, как плод... самой чистой на свете любви, хе-хе. Я предупреждал тебя, Солль – лучше быть моим другом, нежели врагом... А теперь поздно. Плачь, Солль... Плачь...» Он плакал.

Глава вторая

* * *

... Человек был стар, но дом казался старше.

Дом стоял на пригорке, одинокий, но не заброшенный; много лет его порога не переступал ни хозяин, ни слуга, и окрестные жители опасались заросшей тропинки, подползавшей под тяжелую входную дверь. Дом был одинок – но ни одна пылинка не смела касаться рассохшихся половиц, широкой столешницы обеденного стола или клавиш открытого клавиатура; с темных портретов презрительно смотрели друг на друга чопорные, холодные лица.

На круглом столике стоял подсвечник без свечей; провалившись с ногами в глубокое кресло, перед столиком сидел старый человек. Он был даже более одинок, нежели это мог представить себе древний спесивый дом.

На круглой столешнице, испещренной полустершимися символами, лежал золотой предмет на длинной цепочке – медальон, тонкая пластинка с фигурной прорезью.

На краю золотой пластинки бурым пятном жила ржавчина.

Старый человек молчал.

Дом не смел нарушать его раздумий. Дом хотел покориться ему и служить верно и предано.

Человек не желал, чтобы ему служили.

Перед ним на столе лежала ржавая золотая пластинка.

Опять.

* * *

... Горничная Далла казалась растерянной и огорченной: да, господин Солль дома... Он вернулся вчера вечером... Нет, он не выходил из спальни. Он не позавтракал, госпожа... А... хорошо ли прошел... праздник?

Тория молча кивнула. Эгерт дома, значит, все можно поправить. Эгерт не разбился, упав с лошади, не стал жертвой ночных бродяг и не потерял рассудок, как подумалось ей в одну из черных минут ожидания. Эгерт дома, и сейчас она увидит его.

Сонная и хмурая Алана поднялась в детскую вслед за нянькой. Луар стоял у двери, смотрел в пол и пытался оторвать пуговицу от собственной кожаной перчатки.

– Не хмурься, Денек, – она даже улыбнулась, столь велико было ее облегчение. – Нечего топтаться, у тебя есть время привести себя в порядок, прежде чем... прежде чем отец позовет тебя.

Голос ее звучал уверенно и ровно. На Луара ее слова всегда оказывали магнетическое действие – даже сейчас он чуть расслабился, приподнял уголки губ и бросил наконец терзать перчатку:

– Да...

Тория проводила его глазами. Ей самой пришлось сделать над собой усилие, чтобы не броситься к Эгерту тотчас же; мужу не следует видеть отпечатка, оставленного двумя бессонными ночами, горем и страхом – а главное, той маской спокойствия и уверенности, которую Тория удерживала на лице уже вторые сутки.

Она умылась и переделалась; любое привычное, самое мелкое действие казалось ей то мучительным, а то исполненным чрезмерной важности. Не отдавая себе отчета, она всячески оттягивала встречу с мужем – но каждая минута промедления стоила ей нового седого волоска.

Несколько раз ей казалось, что Эгерт неслышно открыл дверь и стоит теперь на пороге; некоторое время она делала вид, что не видит его, потом резко оборачивалась – но дверь была закрыта, и тяжелые портьеры над ней не качались. Солль не мог не знать, что жена и дети вернулись; Тория выдумывала и не могла представить себе причину, по которой Эгерт ни словом, ни звуком не отреагировал на их приезд. Дом молчал, не то в страхе, не то в трауре; даже кухарка, казалось, боялась лишней раз громыхнуть посудой.

Может быть, измученный ночной скачкой, Эгерт заснул? Тории не хотелось бы его будить – она просто посидела бы рядом, лишней раз убедилась бы, что небо еще не свалилось на землю, что Солль никуда не исчез – вот он, живой, а значит, все можно поправить...

Она постояла перед зеркалом, глядя в свои ясные, спокойные – а на самом деле отчаянные и больные глаза. Вспомнила зимний день, снег на могиле Первого Прорицателя, свою холодную руку в руке Эгерта-юноши... Вспомнила горячую душную ночь с тлеющим камином, потом первую улыбку Луара, потом почему-то широкую лужу на лесной дороге – в ней Алана утопила пряжку от башмака. Лужа казалась сине-зеленой от неба и стеблей, по поверхности ее плавал, уцепившись за веточку, неудачливый паук...

Тория подняла подбородок, выпрямилась, повела плечами – и отправилась в комнату мужа.

Она постучала тихо, чтобы не разбудить Эгерта, если он спит. Но он не спал; после долгой паузы из-за дверей донеслось его приглушенное «да».

Тория толкнула дверь и вошла.

Эгерт не обернулся ей навстречу. Он стоял возле низкого трехлапого столика, на котором беспорядочной грудой валялись книги, обрывки бумаг, пояс с кошельком, кинжальные ножны, носовые платки, шпага, перчатки, бронзовая статуэтка, письменный прибор, обломок шпоры, скомканная рубашка – обычные предметы пополам со странными, все это Тория успела рассмотреть машинально, мимоходом, в тщетных поисках Эгертовых глаз.

Солль стоял спиной, сгорбившись, опустив голову. Ему не нужно было оглядываться, чтобы узнать Торию – но узнав, следовало обернуться.

Она стояла у двери. Слов не было; Эгерт молчал, и руки его бесцельно перебирали перламутровые пуговицы брошенной на стол рубашки. Она смотрела в его спину, текли бесформенные, тяжелые, неповоротливые минуты, и на Торию медленно нисходило черное осознание катастрофы.

Тогда она набрала в грудь воздуха. Все равно, что сказать – лишь бы услышать свой голос. Лишь бы прервать течение тишины. Почему она молчит, сейчас она скажет, наваждение сгинет, в этого чужого отстраненного человека снова вселится душа Эгерта Солля...

Тория молчала. Молчание жило во всем доме – густое и вязкое, как смола.

Солль шевельнулся. Напряженные плечи опустились еще ниже; медленно, через силу, он повернулся – не прямо к Тории, а как-то скованно, боком.

Она увидела половину его лица и ужаснулась. Знакомый ей Эгерт был на десять лет моложе.

Он скомкал рубашку. Подержал в руках; осторожно положил на стол, накрыв рукоятку шпаги:

– Ты...

Голос был хриплый и чужой. Обращенный мимо Тории глаз болезненно щурился, и мелко подергивалась щека.

Внезапный приступ жалости помог ей оборвать оцепенение. Она шагнула вперед:

– Эгерт... Что бы там... Я...

Ее протянутая рука повисла в воздухе. Солль отшатнулся, как от прокаженной; бронзовая статуэтка скатилась со стола и грянулась об пол.

Теперь Солль смотрел прямо на Торию. Забыв опустить протянутую руку, она попятилась, будто ее собирались ударить.

– Ты... – сказал он медленно и раздельно. – Он... дотянулся. ОН.

Она молчала. Ее глаза казались непроницаемо черными – одни зрачки.

Солль криво усмехнулся:

– Он... зачал... твоего сына, Тор. Там, в подвале...

Губы Тории шевельнулись. С них не слетело ни звука, но Эгерт расслышал и криво усмехнулся:

– Он... посмотри на... Твой сын.

Ему не хватило мужества, чтобы произнести проклятое имя Фагирры но еще страшнее оказалось вымолвить вслух имя Луара.

Тории показалось, что наглухо запертые подвалы ее сознания, куда она боялась навдаться, чтобы не сойти с ума, что эти погребенные закоулки памяти переполнились вдруг и вот-вот сорвут плотину. Она насильно заставила себя не понимать, о чем говорит Эгерт, и медленно пятилась, оступаясь в складках ковра, пятилась, пока не прижалась спиной к двери.

Солль перевел дыхание:

– Я... не хотел. Я... прости.

Его лицо судорожно передернулось.

С трудом сдерживая напор рвущейся наружу памяти, по-прежнему принуждая себя не понимать и не верить, Тория повернулась, открыла тяжелую дверь и вышла прочь. Ей казалось, что, потеряв сознание, она упала на ковер и лежит сейчас у ног мужа – на самом деле она спускалась по лестнице, слепо шаря рукой по перилам и беспомощно оглядываясь, пытаясь поймать среди стусившейся черноты маленькое круглое пятнышко света.

Горничная шарахнулась от нее, как от привидения. Внизу лестницы стоял Луар – приодетый вымытый Луар, рассчитывающий, что отец его вот-вот позовет... Тория остановилась, вцепившись в перила, гладкие деревянные ступени готовы были вырваться из-под ее ног.

...Ступени. Склизкие каменные ступени, вытертые до дыр ногами палачей и жертв... Подвал под зданием суда, отвратительная тень на волглой стене, тошнотворный запах горелого мяса...

Луар испугался. Она не видела его испуга; взяв обмершего, покорного юношу за плечи, она сняла со стены подсвечник и с пристрастием заглянула в белое виноватое лицо.

...Она купала его в дубовом корыте, розовая рука хватала деревянную лодочку и тянула в рот – на радость единственному зубу... На воде дробилось солнце – рваными бликами, кругами... А над водой то и дело задирались ступни – гладкие и плоские, не сделавшие и шага, нежные ступни с мелкими шариками пальцев... А в корыте была темная трещина, скоро вода уйдет...

– Мама, – шепотом позвал Луар.

Она опомнилась. Протянула руку и взяла его за лицо:

– Нет... Нет.

Кивнув обомлевшему сыну, повернулась и пошла, ведя рукой по стене. Горничная присела, забившись в угол.

* * *

Наверное, первый раз в жизни мне было тошно выходить на подмости.

Гезина подозрительно косилась; Муха поглядывал с недоумением: с чего бы это я проваливаю сцену за сценой, превращая веселые фарсы в серые пошлые сценки? Флобастер хмурился, скрипел зубами – но молчал.

Самого Флобастера давно уже не огорчала неудачная импровизация в гостях у Соллей; он перестал волноваться в тот самый момент, когда выяснилось, что разрешение бургомистра остается в силе и никто нас из города не погонит. Все прочие переживания представлялись Флобастеру капризами – «с жиру», и только память о моем недавнем подвиге удерживала его от соблазна «вернуть меня на землю».

Довершил дело дождь – он разогнал публику так быстро, как не смог бы сделать этого даже самый скучный спектакль. В холщовом пологе повозки обнаружилась дыра; дождь капал за шиворот Мухе, когда тот пытался зачинить прохудившуюся крышу.

– Сегодня ты играла, как никогда, – сообщила Гезина. – Всем очень понравилось.

Муха криво усмехнулся; я сидела на своем сундуке, с трудом жевала черную горбушку и думала о теплом лете, полной шляпе монет и смеющемся Эгерте Солле.

* * *

Второй раз за Луарову жизнь отец уехал, не попрощавшись. Мать заперлась в своей комнате, и за три дня он видел ее два раза.

Первый раз к нему в комнату постучала испуганная горничная Далла:

– Господин Луар... Ваша матушка...

Он почувствовал, как цепенеет лицо:

– Что?!

Далла со всхлипом перевела дыхание:

– Зовет... Желает... Желает позвать... вас...

Он кинулся в комнату матери, изо всех сил надеясь на чудо, на разъяснение, на то, что странные и страшные события последних дней еще можно повернуть вспять.

Мать стояла, опершись рукой на письменный стол; волосы ее были уложены гладко, слишком гладко, неестественно аккуратно, а белое лицо казалось мертвенно-спокойным:

– Луар... Подойди.

Внезапно ослабев, он приблизился и стал перед ней. Внимательно, напряженно, щурясь, как близорукая, мать рассматривала его лицо – и Луару вдруг сделалось жутко.

– Нет, – слабо сказала мать. – Нет, мальчик... Нет... Иди.

Не смея ни о чем спрашивать, он вернулся к себе, заперся, сунул голову в подушку и разрыдался – без слез.

Приходили гонцы из университета – горничная растерянно сообщила им, что госпожа Тория больна и не может принять их. Господин ректор прислал слугу, чтобы специально справиться – а не нужны ли госпоже Тории услуги лучшего врача? аптекаря? знахаря, наконец?

Луар проспал весь день, всю ночь и половину следующего дня. Ему хотелось бежать от яви – и он бежал. В забытьи.

Под вечер в дверь его комнаты стукнули; он хрипло сообщил Далле, что не голоден и ужинать снова не будет. В ответ послышалось слабое:

– Денек...

Он вскочил, разбрасывая подушки; заметался, накинул халат, открыл матери дверь.

Лицо ее, страшно осунувшееся, но все еще красивое, было теперь не просто спокойным – безучастным, как у деревянной куклы. Луар с ужасом подумал, что, опустив сейчас Тория руку в огонь, на этом лице не дрогнет ни единая жилка.

– Мама...

Ледяной рукой она взяла его за подбородок и развернула к свету. Глаза ее сверлили насквозь; Луару показалось, что его хотят не просто изучить – разъять. Он снова испугался – неизвестно чего, но желудок его прыгнул к горлу:

– Мама!..

Глаза ее чуть ожили, чуть потеплели:

– Нет... Нет, нет... Нет.

Она вышла, волоча ноги, как старуха. Луар стоял столбом, вцепившись в щеки, и тихонько скулил.

Прошел еще день; отец не вернулся, и Луар почти перестал его ждать. Блаженное забытье кончилось – теперь ему снились сны. Во сне он кидал камнем в согбенную фигуру, покрытую рваным плащом – и попадал в лицо отцу, тот смотрел укоризненно, и кровь виделась неестественно красной, как арбуз... Во сне он фехтовал с отцом, но шпага в руках противника превращалась зачем-то в розгу, ту проклятую розгу из далекого детства...

Потом он вышел, потому что сидеть взаперти стало невозможно. Спустился в пустую столовую, потрогал рукоятку собственной шпаги на стене, постоял под портретами отца и матери...

...Художник был упитан и самонадеян; Луару разрешалось сидеть у него за спиной во время сеансов, и, однажды, выждав момент, он запустил руку в краску – прохладную, остро пахнущую, мягкую, как каша, наверное, вкусную... Он надолго запомнил свое разочарование – пришлось долго отплевываться, краска оказалась исключительно противной и липла к языку. Живописец возводил глаза к небу, горничные посмеивались, нянька сурово отчитала Луара и даже хотела отшлепать...

Он вздрогнул, почувствовав взгляд. Мать стояла на лестнице, на самом верху, и смотрела напряженно и пристально – будто задала важный вопрос и ждала ответа. Две свечи в тяжелом канделябре бросали желтый отблеск на впалую щеку.

Луар молчал. Почему-то захотелось спрятаться.

Губы матери шевельнулись почти без звука:

– Подойди.

Он двинулся по лестнице вверх – наверное, с таким чувством всходят на эшафот.

Тория стояла, прямая, как шпага, и смотрела на идущего к ней сына. Перепуганный, виноватый, жалобный взгляд; Тория подняла перед собой подсвечник, поднеся два желтых язычка к самому Луаровому лицу:

– Н-нет...

Но слово умерло, не родившись. Мучительное дознание, разрушавшее ее душу все эти дни, пришло наконец к ясному, единственно возможному выводу.

Покачнувшись, она чуть не обожгла сына огоньками свечей. Луар отшатнулся:

– Мама?..

Пелена, так много лет защищавшая ее глаза от убийственного открытия, теперь сползла – лохмотьями, как изодранная ткань. На нее жалобно смотрел молодой Фагирра – палач Фагирра, который не замучил ее сразу. Он отсрочил пытку, он растянул пытку на долгие годы, от сделал пыткой всю жизнь.

Перед глазами Тории слились два похожих лица – отца и сына. Оскалившись, как ведьма, она ударила канделябром, метя в ненавистную харю палача.

Луар отшатнулся, вскрикнув от боли. Свечи, задымив, покатались по ступенькам; Луар прижимал ладонь к разбитому лицу, из-под окровавленных пальцев в ужасе смотрели глаза избиваемого щенка:

– Мама! Мама!!

– Проклинаю, – прохрипела Тория, и из запретных глубин памяти всплыла улыбка Фагирры, улыбка, подсвеченная огнем жаровни. – Проклинаю... До конца... С глаз... Навеки... Ублюдок... Проклинаю!!

В детской тонко, навзрыд заплакала Алана.

* * *

Муха поспорил с хозяином харчевни, что снимет с полки, откупорит и выпьет бутылку вина без всякой помощи рук. Нашлись и скептики, и зрители; в Мухину шляпу упало полетели медяки – в случае неудачи «банк» доставался трактирщику.

Я сидела в углу, жевала невыносимо костистую рыбу и равнодушно смотрела, как заключаются пари. Этот трюк гораздо старше самого Мухи, странно, что его здесь не знают; Муха выучился ему недавно – но зато в совершенстве, я не боялась, что он проиграет.

Рыбья голова, сиротливо сидящая на обглоданном скелете, слепо пялилась на меня из пустеющей тарелки; Муха заложил назад руки, и хозяин тут же их связал. Посетители перебрасывались прогнозами – не так чтобы очень возбужденно, но и не совсем равнодушно:

– Выпьет.

– Выпить и я могу, а как откупорит?

– Выпьет-выпьет, на дармовщину-то...

– Ах, ты, малявка, у меня ведь пацан такой вот, так его бы в трактире застукал – весь ремень об него истрепал бы...

Улыбаясь независимо и гордо, Муха подступил к шкафчику с бутылками. Зубами дернул ручку – отворил; мгновенно выбрал самую пузатую, самую почтенную на вид бутылку – трактирщик закричал предостерегающе:

– Эй, не эту! Это слишком жирно будет, ты, фигляр!..

Зрители зароптали на трактирщика – скрипнув зубами, тот был вынужден замолчать.

Вопль хозяина окончательно уверил Муху в правильности выбора. Довольно хмыкнув, он подался вперед и губами ухватил короткое толстое горлышко. Зрители одобрительно загудели.

С некоторым опозданием я вспомнила вдруг, что Фантин давно ушел спать, Флобастер вообще не появлялся в харчевне, у Бариана болит зуб, а Гезина ужинает в городе у нового знакомого – а это значит, что тащить домой пьяного Муху придется мне одной.

Предпринимать что-либо было уже поздно – Муха вытащил бутылку на пустой стол посреди харчевни, и зрители подбадривали его солеными шуточками. Я уныло смотрела, как маленький мерзавец воюет с пробкой, согнувшись в три погибели, зажав бутылку между коленями и ловко орудуя зажатым в зубах штопором; на месте Флобастера я устроила бы из этого Мухино умения веселенькую репризу между фарсами. Впрочем, тогда и вина не напасешься, и кому нужен пьяный как бревно Муха?

Пробка вылетела наконец, зрители заплодировали, а Муха выплюнул штопор. Теперь предстояло самое интересное; горлышко до половины скрылось в Мухиной глотке, он задрал голову, с видимым усилием опрокидывая бутылку – зрители замерли. Потом худое Мухино горло принялось ритмично, с утробным звуком заглатывать благородный напиток; в такт этому неприличному «огм, огм» в мутной бутылке забулькали пузыри, а по острому подбородку умельца заструились винные ручейки – правда, довольно скудные.

В харчевне воцарилась тишина, нарушаемая только Мухиными глотками; я хмуро прикидывала расстояние от трактира до гостеприимного дворика, приютившего наши повозки на эту ночь. Весу в Мухе... не так много, но мне хватит, я изящная девица, а не каменотес, я не привыкла таскать на спине пьяных мальчишек...

Хозяин тихонько охнул; Муха крикнул и осторожно, преувеличенно осторожно поставил бутылку на стол. С трудом разжал зубы; зрители подались вперед, кто-то особенно азартный подхватил бутылку и перевернул вверх дном. На пол упала одна только капля.

Вся харчевня загалдела, завозилась, захохотала; Муха аккуратно выгреб из шляпы причитающиеся денежки, спрятал, подмигнул в толпу и направился ко мне.

За два шага до столика ноги его разъехались, лицо расплылось в бессмысленной улыбке – и он свалился на меня совершеннейшим безвольным мешком.

Вот оно, подумала я сквозь зубы (а сквозь зубы тоже, оказывается, можно думать). С отвращением отодвинула тарелку с рыбьим скелетиком и подхватила Муху под мышки.

Все видели, как и куда Муха прятал денежки; с соседнего столика уже постреливал вороватыми глазками шустрый сморщенный старичок. Горстка медяков – пожива не ахти, но наши с Мухой жизни стоят и того дешевле, поэтому я собралась с духом, ухватила Муху за шиворот и поволокла к двери.

Снова шел дождь, промозглый, липкий, не устающий уже несколько дней. Муха то безмятежно, по-детски сопел носом, то принимался бормотать, петлять ногами и слабо вырываться. Я молчала, берегла силы; к счастью, улица была не из худших и кое-где покачивались горящие фонари.

Мы с трудом одолели половину пути. Муха смеялся, просил оторвать ему голову, тыкал неверным пальцем в фонарные столбы:

– Чего... лезет на живот. На живот мне лезет, ме-ирзавец...

Я сочиняла слова, которые скажу ему завтра, и эти мысли немного меня поддерживали. Глаза мои не отрывались от разбитой мостовой, я старалась не угодить в особенно глубокую лужу – а потому случилось так, что пьяный Муха первым увидел лежащего человека:

– Во... Тут уже все спят...

Стиснув зубы, я волокла его дальше; этот второй пьяница лежал навзничь, раскинув руки, будто собираясь взлететь. Запрокинутое лицо казалось покрытым слоем муки. Мельком взглянув на него, я внезапно помрачнела – лежащий напомнил мне Луара Солля. Во всяком случае такой же молодой – чуть старше Мухи.

Что за неудачный вечер, подумала я. Завтра отберу у Мухи половину выигранных денежек – я их заработала, пес раздери. И в другой раз за все золото мира не стану таскать на себе маленьких негодяев...

Человек под забором попытался пошевелиться и застонал. В первый раз напился, подумала я с отвращением. Убейте, не пойму, что за удовольствие платить за вино, чтобы за свои же денежки потом мучиться... Вот Мухе покамест хорошо. Весело Мухе, посмотрим, что ты завтра скажешь, щенок эдакий...

Мы миновали лежащего. До нашего пристанища оставалось совсем немного, когда я вдруг остановилась и чуть не выпустила икнувшего Муху. Дождь не унимался, вокруг тусклого фонаря пестрели, как мошки, частые летящие капли.

– погоди, – я прислонила Муху к стене. Он тут же сполз на мостовую – в грязь, не пригасив тем не менее лучезарной пьяной улыбки.

Я оставила его в покое и бегом вернулась к лежащему юноше.

Он не пытался подняться, зато рядом сидел на корточках оборвыш лет десяти и сосредоточенно шарил в поисках кошелька. «Стража!» – рявкнула я страшным голосом, воришка растворился в мокрой темноте, а я с запозданием подумала о множестве взрослых его собратьев, которые ходят неподалеку.

Парень лежал, неудобно повернув голову. В тусклом свете фонаря я долго всматривалась в его лицо; даже на изрядном расстоянии мой нос морщился от густого винного перегара.

Скорее маленький сбежавший карманник окажется сиятельным князем, нежели наследник семейства Соллей обнаружится в грязной луже посреди города. Скорее Флобастер купит мне ферму, нежели я потрачу на этого пьяницу еще секунду драгоценного времени. Скорее Гезина напишет философский трактат...

Скрипнув зубами, я крепко взяла лежащего под мышки – светлое небо, что за день сегодня! – и подтащила ближе к свету. Ноги его безвольно проехали по илистой луже – мне померещилось, что я нашла и тяну огромную снулую рыбину.

Парень не сопротивлялся. Только когда желтое пятно света упало ему на лицо, он сморщился, будто от невыносимо яркого солнца.

Я стояла над ним, опустив руки. Ребра мои вздымались и опали, как весла каторжной галеры.

Ну что мне теперь делать?! Бежать к господину Эгерту? «Скорее, скорее, господин Солль, а то одна я никак не утащу вашего сыночка, который как свалился под забором, так и лежит...» А может, напрямую к бургомистру? К начальнику стражи, пусть направит сюда патруль, пусть патруль донесет господина Луара до отчего дома...

Меня передернуло. На свете существуют не только мелкие карманники и крупные грабители. На свете существуют огромные стражники, которые ни о чем не желают разговаривать, и вряд ли их подкупишь жалкими медяками – Мухиным выигрышем...

Светлое небо, да ведь еще Муха!! Лежит под своей стеной и лучезарно улыбается... Будьте неладны. Будьте неладны оба.

Луар пошевелился и поднял опухшие веки. Небо, у этого парня были ясные серые глаза – теперь они смотрели слепо, мутно, страдальчески. От этого взгляда я чуть поостыла – как ни странно, только сейчас мне пришло в голову задуматься: а что же такое случилось в семействе Соллей, что после внезапной и странной отлучки отца сын оказался в столь невозможном, жалком состоянии?!

– И что мне теперь делать? – спросила я устало. Луар не ответил глаза его закатились.

Бариян не спал – маялся зубом. В теплом платке, намотанном вокруг лица, он совсем уж не походил на героя-любownika – скорее на измученную сельскую молодуху.

– У-ум... – простонал он, хватая за шиворот моего спутника, которого правильнее было бы называть ношей. – Над-ался, негодяй, вот бы...

Глаза его полезли из орбит, потому что пьяница у меня на руках оказался в полтора раза выше и тяжелее привычного Мухи.

У меня не было сил ничего ему растолковывать. Я промокла до нитки, вымазалась в грязи, а язык мой покрылся мозолями от непрерывных проклятий. Муха лежал в десяти шагах позади – не в силах тащить обоих парней одновременно, я волокла их эстафетой, по очереди.

Разбуженный нашей возней, явился Флобастер. Веселый Муха водворен был в повозку – отсыпаться; и Бариян, и Флобастер удрученно качали головой, разглядывая землистое лицо юного Солля. После деловитого обмена опытом – а у обоих был обширный опыт неудачного питья – Флобастер потащил полумертвого Луара на задний двор, «чтобы все лишнее вон». Бариян, постанывая и держась за щеку, сообщил мне, что до утра делать все равно нечего – приведем парня в чувство, а там пусть сам решает, что матушке-то сказать...

Я промолчала. Относительно матушки и особенно батюшки непутевого Луара у меня сидела в голове здоровенная заноза.

После изуверской Флобастеровой операции Луар немного ожил, хотя на ногах все равно не держался; его уложили на место Барияна, который все равно не спал и собирался завтра идти к цирюльнику – рвать зуб...

Я провела ночь без сна и в одиночестве – Гезина, делившая со мной повозку, так и не вернулась после ужина с новым другом.

* * *

Тяжелее всего казалось то, что она не могла вспомнить. Защищаясь от безумия, рассудок ее сделал все, чтобы уничтожить память о тех днях – иначе она не могла бы жить и не могла бы дать жизнь проклятому сыну...

Сидя перед горящей свечой, она с утра до вечера сматывала нитки бесконечные клубки шерсти, чудом сохранившиеся на дне старого сундука. Она сматывала их с клубка на клубок, как сумасшедшая паучиха; она глядела в пламя свечи и пыталась вспомнить.

Лучше всего помнилась жаровня. Странное чувство отстраненности это не она, страшное происходит не с ней, она лишь наблюдатель... Она, кажется, так и не смогла поверить до конца во весь этот ужас – даже когда жгли тело раскаленными щипцами, когда...

Провал в памяти. Спасительный провал.

Спрашивали ее о чем-нибудь? Скорее всего, нет. Ни о чем не спрашивали, просто ждали признания... Признания в какой-то немыслимой вине, и она всякий раз признавалась – но палачи не унимались, будто желали чего-то еще. Провал в памяти...

Клубок вывалился из онемевших пальцев и мягко, беззвучно побежал по ковру.

* * *

Муха проспал до полудня, и потому некому было тарашиться на Луара и спрашивать, щелкая языком, а что такое приключилось и откуда здесь маленький Солль?

Флобастер держался блестяще – со стороны можно было подумать, что наша трупка то и дело дает приют пьяным отпрыскам благородных родов. Бариян поскакал к цирюльнику, Фантин был нелюбопытен, а Гезине я вполне ясно объяснила, что, если она посмеет задать хоть один вопрос, я своими руками повырву все до единого белокурые волосы. Она надулась – но, в конце концов, после романтического свидания ей было не до свар.

Луар сидел в повозке Флобастера – бледный до синевы, исхудавший, похожий на больную дворнягу; Флобастер чуть не силой влил в него полстакана вина. От всякой пищи юный Солль, конечно же, отказался; Флобастер понимающе кивал и укутывал его пледом – но Флобастер не дурак. Он, как и я, прекрасно понимал, что парень мучится не одним только похмельем.

Наконец, пришлось спросить-таки: а что, господа Солли не будут волноваться? Не кинутся разыскивать невесту куда пропавшего сына?

Реакция Луара на этот невинный, вскользь оброненный вопрос подтвердила наши самые худшие опасения. Парня перекосило, как от боли; он отвернулся к стене и пробормотал что-то совершенно невнятное.

Мы с Флобастером переглянулись. Он тут же спохватился – ведь через несколько часов спектакль – и поспешил давать распоряжения. Мы с Луаром остались одни.

Луар сидел ко мне боком, неловко подобрал ноги, скрючившись и глядя в одну точку. Ему было невыносимо тяжело и стыдно, может быть, мне стоило оставить его в покое и уйти – но я почему-то не уходила.

Неправдой будет сказать, что внутри меня не жило обыкновенное подлое любопытство. Да, я любопытствовала, как праздный зевака, – но удерживало и мучило меня совсем другое.

Я была виновата перед ним. Снова виновата; это чувство, успевшее притупиться за несколько прошедших дней, теперь вернулось с новой силой, чтобы терзать меня своей неопределенностью: виновата – но в чем?!

Луар молчал. На лице его темнели различимые при дневном свете синяки, а ногти грязных рук были сгрызены до мяса. Я напрягла память – не было у него такой привычки. Никогда, даже в рассеянности, воспитанный юноша не станет грызть ногти...

Не могу сказать, чтобы в жизни я кого-то так уж жалела – но в этот момент что-то внутри меня больно сжалось. Слишком уж внезапную катастрофу пережил этот благополучный мальчик, счастливый папенькин сынок... Мне захотелось напоить его горячим. Вымыть. Укутать. Сказать, наконец, какую-то ободряющую глупость...

Наверное, что-то такое отразилось у меня на лице – потому что, искоса взглянув на меня, он всхлипнул. Кто-кто, а я прекрасно знаю – обиженный хранит гордость, пока кругом равно-

душные. Стоит просочиться хоть капельке сочувствия, понимания, жалости – и сдержать слезы становится почти невозможно...

Луар судорожно вздохнул, снова глянул на меня – и я поняла, что его сейчас прорвет. На минуту мне даже сделалось страшно – все-таки есть вещи, которых лучше не знать...

Но он уже не мог остановиться. Слова текли из него пополам со слезами.

Выслушивать чужие исповеди мне приходилось и раньше; лицо у меня такое, что ли – но чуть не все приютские девчонки рано или поздно являлись, чтобы поплакать у меня на груди. Однако их печальные судьбы были бесхитростны и все похожи одна на другую – история же, рассказанная Луаром, заставила волосы шевелиться у меня на голове.

Я готова была не поверить. Кое-как напрягшись, можно вообразить себе господина Эгерта Солля, с перекошенным лицом и без единого слова уезжающего в ночь, – чему-то подобному и я была свидетелем... Но госпожа Тория, избивающая собственного сына?! Госпожа Тория, проклиная обожяемого Луара как «выродка» и «ублюдка», выгоняющая его из дому ударами подсвечника по лицу?..

Он замолчал. С некоторым ужасом я осознала вдруг, что после всего сказанного этот парень перестал быть мне случайным знакомым. Никогда не следует подбирать бродячих щенят, чтобы покормить, приласкать, а потом выгнать с чистой совестью: был на улице и будет на улице, разве что-то изменилось?..

Небо, у него что же, действительно больше никого нет? Ни бабушки, ни дедушки, ни тетки, в конце концов? Что за злые шутки судьбы – вчера я была для него сродни прислуге, а сегодня он плачет передо мной, мучается, стыдится, но плачет?

Я села с ним рядом. Обняла его крепко – как когда-то в приюте, утешая очередную дурищу; он мелко дрожал, он был грязный и жалкий – но я почувствовала, как его плечи чуть расслабляются под моими руками.

Не помню, что я ему говорила. Утешения обязаны быть бессмысленными – тогда они особенно эффективны.

Он затих и всхлипывал все реже. Я шептала что-то вроде «все будет хорошо», гладила его влажные волосы, дышала в ухо, а сама все думала: вот напасть. Вот новая забота; теперь он либо помирится с родственниками и возненавидит меня за эти свои слезы – либо не помирится, и тогда вовсе худо, хоть бери его в трупку героем-любовником...

А своих слез он все равно мне не простит.

Небо, я моложе его где-то на год – но старше лет на сто...

Я осторожно отстранила его; он безропотно улегся на Флобастеров сундук. Подмостив ему под голову какое-то тряпье, я пробормотала последнее утешение и, удостоверившись в полусонном его забытии, выбралась наружу. Флобастер сидел неподалеку на узком чурбачке – сторожил, значит. Оберегал наш интимный разговор от случайно забредших ушей.

Коротко и без подробностей я посвятила его в курс дела. Он долго покачивался с пятки на носок, с носка на пятку, свистел, вытянув губы трубочкой, и чесал в затылке.

– Стало быть, она его и наследства лишила? – поинтересовался он наконец.

Я пожала плечами. Похоже, что наследство беспокоило маленького неопытного Солля в самую последнюю очередь.

– Как бы справиться у нотариуса, – бормотал тем временем Флобастер. – Писца подкупить, что ли... Вызывала дама Солль нотариуса или нет?

Я тихо разозлилась. Вот ведь куда головы работают у бывалых людей; я-то, выходит, мотылек вроде Луара, о наследстве и не подумала, мне несчастной семьи жалко...

– А полковник-то куда отправился? – озабоченно поинтересовался Флобастер.

Я пожала плечами. Единственным подходящим местом, упоминавшимся при мне Соллями, был город Каваррен.

– Ну добро, – подвел итог Флобастер. – Пусть поживет денек-другой, ладно, потеснимся... А потом пусть в стражу нанимается, что ли... А сейчас давай-давай, скоро публика соберется, а Муха, щенок, с перепою...

Я устало смотрела в его удаляющуюся спину.

* * *

Перед рассветом Тории захотелось умереть.

Подобное желание навещало ее не однажды – но всякий раз невнятно, смутно, истерично; теперь мысль о смерти явилась ясно, строго и без прикрас – величественная, даже почтенная мысль. Тория села на скомканной за ночь постели и широко, успокоенно улыbnулась.

В дальнем отделении стола хранился ящичек со снадобьями; пузатый флакон из темного стекла покоился на вате среди бездомных раскатившихся пилюль – Тория давно забыла, от каких именно хворей прописывал их благодушный университетский доктор. Жидкость во флакончике хранила от зубной боли; баснословно дорогая и редкостная, она действительно оказалась чудодейственной – совсем недавно Тория спасала от жутких зубных страданий сладкоежку-горничную... Аптекарь, составивший снадобье, знал в травах толк; вручая Тории флакончик, он десять раз повторял свое предостережение: не более пяти капель! Если вам покажется, что вы ошиблись в счете – сосчитайте заново, пусть лучше пропадет толика лекарства, нежели он, аптекарь, окажется повинен в истории с ядом...

Тория бледно усмехнулась. Больше всего на свете аптекари боятся «истории с ядом»; будем же надеяться, что имя нашего добряка не всплывет в связи с безвременной кончиной госпожи Тории Солль...

Она выронила флакон; за темным стеклом тяжело качнулась волна густой вязкой жидкости. Небо, больше половины...

Темная вода на дне пруда. Глинистое дно; поднимая в воде струи серой глины, топают маленькие босые ноги. Теплая грязь продавливается между розовыми пальцами; только ноги, выше колен – солнечные блики на поверхности пруда да иногда – мокрый подол детского платья...

На дне полно узловатых корней. Так легко наступить на острое, поранить, замутить и без того мутную воду твоей, девочка, кровью...

Она содрогнулась. Протянула руку, чтобы остановить – и тогда только опомнилась. Бред. Нет никакого пруда; то было летом, когда смеялся Эгерт...

Нету пруда. Есть Алана, о которой она даже не вспомнила все эти дни. Ее девочка. Ее дочь.

Она оделась – по привычке бесшумно, хоть и некого было будить. Взяла свечку и вышла в предрассветный полумрак спящего дома.

Нянька сопела в первой комнате от входа; неслышно ступая, Тория обогнула вздымающееся одеяло, отодвинула тяжелую занавеску и вошла в теплые запахи детской.

Кроватка стояла под сереющим окном; прикрыв свечу ладонью, Тория смотрела на утонувшую в подушке темноволосую голову – и рядом еще одну, фарфоровую, кукольную, с выпученными бессонными глазами.

Там, в ее комнате, остался наполовину полный флакон... Будь проклята ее слабость.

Тория длинно, со всхлипом вздохнула. Алана вздрогнула; еще не проснувшись, приподнялась на локте, приоткрыла рот, готовясь заплакать. Распахнула удивленные глаза:

– Мама?!

Закусив губу, Тория опустила на кроватку. Схватила дочь в объятия, сжала, изо всех сил вдыхая ее запах, запах волос и сорочки, ладоней, кожи, локтей и подмышек, чувствуя

губами щеточки ресниц и полоски бровей. Кукла грохнулась на пол; Алана сдавленно вскрикнула, и, на секунду отстранившись, Тория увидела перепуганные, полные слез глаза:

– Мамочка... А папа... А... Луар вернулся, да?

Нянька стояла в дверях. Подол ее рубашки колыхался над самым полом.

* * *

Гезина повздорила с Флобастером – тот не без оснований считал, что ее новая дружба, переросшая в пылкую любовь, мешает работе. В самом деле, Гезина повадилась возвращаться перед самым спектаклем и после представления сразу же исчезать. Такое положение вещей не устраивало Флобастера, который нервничал и злился, утрачивая мельчайшую частичку власти; такое положение не устраивало и меня, потому что кому же охота делать чужую работу и возиться с костюмами за двоих?

Скандал вышел громкий – Гезина, видимо, изрядно осмелела в объятьях своего горожанина и потому не побоялась пригрозить, что, мол, вообще оставит трупку, выйдет замуж и плевала на нас на всех. Флобастер, от такой наглости на секунду потерявший дар речи, вдруг сделался тише сахарной ваты и елеиным голосом предложил Гезине проваливать сию же секунду. Дивная блондинка ценила себя высоко и верила в столь же высокую оценку окружающих, поэтому легкость, с которой Флобастер согласился ее отпустить, повергла Гезину в шок. Грозные посулы сменились всхлипами, потом звонким ревом, потом истерикой; безжалостный Флобастер не допустил ни толики снисхождения – Гезина была самым жестоким образом водворена на подобающее место. Для пользы дела, разумеется.

Притихшая героиня старательно отыграла представление, помогла мне убрать костюмы – и уже вечером, пряча глаза, явилась к Флобастеру с нижайшей просьбой: только на ночь... Последний раз...

Флобастер выждал положенное время – о, мастер паузы, мучитель зрительских душ! – и снизошел-таки. Позволил.

До утра наша с Гезиной повозка перешла в мое исключительное пользование – поэтому случилось так, что поздней ночью мы оказались наедине с Луаром Соллем. Холщовый вход был старательно зашнурован от ледяного ветра подступающей зимы; на ящичке из-под грима оплывала свечка.

Всю первую половину нашего разговора, долгую и бесплодную, мрачный Луар пытался выведать, как сильно он успел унизиться накануне. Мило улыбаясь, я пыталась увести его от этого самокопательного расследования – куда там! С тупым упорством самоубийцы он возвращался к болезненному вопросу и в конце концов поинтересовался с нервным смешком: что, может быть, он и слезу пустил?!

Такое его предположение заставило меня сперва оторопеть, а потом и возмутиться: слезы? Господин Луар, видимо, до сих пор не пришел в себя, иначе откуда взяться столь странному вопросу? Не было никаких слез, да и не могло быть...

Он настороженно пытался понять, вру я или нет; наконец, поверив, устало вздохнул и расслабился.

Серо-голубые глаза его казались темными в тусклом свете единственного свечного язычка. Совершенно большие глаза – сухие. Исхудавшее лицо не то чтобы возмужало – подтянулось, что ли, сосредоточилось, напряглось, будто позарез нужно ответить важному собеседнику – да вот только вопрос позабылся... Руки с обгрызенными ногтями лежали на коленях; на тыльной стороне правой ладони краснел припухший полукруг – след истерически сжатых зубов. Еще не успев поймать мой взгляд, он тут же интуитивно убрал руку.

Он выслушал меня внимательно. Помолчал, глядя в пламя свечи. Облизнул сухие губы: – Да... Я... думал, Но... смею ли я?

Я возмутилась уже по-настоящему. Что значит – смею?! Это родной отец, вы же с ним и словом не перемолвились, ничего не прояснено, и, если госпожа Солль, возможно, не совсем здорова – то тем более важно встретиться с господином Эгертом и...

В середине моей пылкой тирады он опустил голову. Устало покачал шапкой спутанных волос. Госпожа Тория... Он почему-то уверен, что она здорова. Тут нельзя говорить о... душевном расстройстве... Конечно, в это легче поверить, но...

Он снова покачал тяжелой головой. Снаружи рванул ветер, и пламя свечи заколебалось. – Я даже не знаю, где он, – беспомощно сказал Луар.

Мне захотелось закатить глаза, но я сдержалась. Конечно, господин Эгерт в Каваррене, в родовом гнезде – где же еще?!

Он просветлел. Уголки губ его чуть приподнялись – в теперешнем его состоянии это должно было означать благодарную улыбку:

– Значит, вы считаете...

Поразительный мальчик. Выплакавшись у меня на груди (тс-с! слез-то и не было!) он все-таки продолжал величать меня на «вы».

Я энергично закивала. Луар обязан отправиться в Каваррен и поговорить с отцом начистоту. Чем скорее, тем легче будет обоим.

Луар колебался. Ему, оказывается, все дело представилось так, что своим внезапным диким отъездом отец отрезал самую мысль о возможной встрече – во всяком случае, до тех пор, пока сам он, Эгерт, не соблаговолит вернуться и объясниться. Пытаясь сдвинуть с места Луаровы представления о дозволенном и недозволенном, я покрылась потом, как ломовая лошадь.

Дело довершила нарисованная мной картина – вот господин Эгерт сидит в родовом замке (или что там у него в Каваррене), сидит, уронив голову на руки, тяжело страдает и желает видеть сына, но не решается первым сделать шаг навстречу, боится обиды и непонимания, мается одиночеством и робко надеется – вот скрипнет дверь, и на пороге встанет...

Щеки Луара покрылись румянцем – впервые за все эти дни. Он ожил на глазах, вслед за мной он поверил каждому моему слову, он мысленно пережил встречу с отцом и возвращение в семью – и, наблюдая за его метаморфозой, я с некоторой грустью подумала, что, быть может, сейчас искупила часть своей безымянной вины... А возможно, и усугубила ее – кто знает, чем обернется для мальчика эта внезапная надежда...

Мальчик же не имел ни времени, ни сил на столь сложные размышления. Враз успокоившись и просветлев, этот новый, обнадеженный Луар исходил благодарностью, и я с некоторым удивлением увидела его руку на своем колене:

– Танталь... Вы... Ты... Просто... Жизнь. Ты возвращаешь жизнь... Ты... просто прекрасная. Ты прекрасна. Вы прекрасны.

И, глядя в его сияющие глаза, я поняла, что он не кривит душой ни на волосок. В эту секунду перед ним сидело божество – усталое божество со следами плохо стертого грима на впалых щеках.

– Танталь... – он улыбнулся, впервые за много дней по-настоящему улыбнулся. – Можно... я...

Он подался вперед; где-то на половине этого движения решимость оставила его, но отступить было поздно, и тогда, удивляясь сам себе, он суетливо ткнулся губами мне в висок.

Он тут же пожалел о содеянном. Вероятно, детский поцелуй показался ему верхом распутства – он покраснел так, что в свете одинокого огонька лицо его сделалось коричневым.

Я прислонилась спиной к переборке. Кожа моя помнила царапающее прикосновение запекшихся губ; прямо передо мной сидел парень, невинный, как первая травка, мучительно стыдящийся своего благодарного порыва. Казалось бы, жизнь его полна куда более тяжелых вопросов и проблем – но вот он ерзает, как еж на ежихе, из-за такой малости, как близко сидящая девушка...

Мне сделалось грустно и смешно. Почти не рассуждая, я поймала его руку и прижала к своей груди – крепко, будто клятву принося.

Он оцепенел; наверное, ему было бы легче, если б я сунула его руку прямиком в горящую печку. Ладонь была холодная, как рыбий плавник; мне сделалось жаль бедного мальчика.

– Да ничего в этом нет, – сказала я устало, выпуская его руку. – Так... Обычное дело. Все люди обедают, едят картошку и шпинат, но никому ведь не придет в голову краснеть и дрожать: сегодня я впервые покушаю... тведаю свеклы... интересно, какова она на вкус...

Он, кажется не понял. Я не выдержала и улыбнулась:

– Ну... Все очень просто, Луар. Гораздо проще, чем считают девственники. Хочешь попробовать?

Он смотрел на меня во все глаза. Не хватало еще, чтобы он принял меня за публичную девку.

– Хорошо, – сказала я, отводя взгляд. – Не слушай меня... Забудь, что я сказала. Тебе надо выспаться... Завтра в путь...

– Да, – отозвался он чуть слышно.

– Гезина вернется только утром... Так что спи спокойно.

– Да...

– Ну вот... Ночью будет совсем уж холодно, Флобастер, скупердяй, все обещает переехать на постоянный двор, чтобы в тепле... А я дам тебе хорошее одеяло. И вот еще, теплый плащ...

Склоняясь над сундуком, я прятала за деловым тоном внезапно возникшую неловкость, а Луар стоял за моей спиной и размеренно, глухо повторял свое «да». Потом замолчал.

Осторожно, боясь спугнуть неизвестно что, я выпрямилась и обернулась.

Он не сводил с меня глаз. Напряженных, вопросительных, даже испуганных – но уж никак не похотливых. Что-что, а похоть я чуяла за версту.

– Танталь...

Только теперь я различила, что его трясет. Мелкой нервной дрожью. Здорово я его тревожила.

– Танталь...

Я вздохнула. Ободряюще улыбнулась; взяла его за мертвую холодную руку и задула свечу.

* * *

На мгновение раскрываясь и пропуская вовнутрь белое облако пара, тяжелая дверь поспешно захлопывалась; в придорожном трактире становилось не то чтобы многолюдно – но все оживленнее, потому что с каждым облаком пара являлся новый посетитель.

Завсегдатаи радостно приветствовали старых знакомцев, случайные путники настороженно оглядывались по сторонам – однако первым делом каждый вошедший спешил к камину, чтобы жадно протянуть озябшие руки к огню.

Луар сидел, наслаждаясь теплом; неподалеку хрустела дровами каменная печка, булькали котлы да напевал под нос довольный жизнью повар. Луар ел – неспешно и грациозно, будто в собственной столовой; с другого конца длинного стола за ним наблюдала угрюмая старуха с раздвоенным подбородком.

Он скакал уже пять дней подряд, останавливаясь только на ночь; возможно, он скакал бы и ночью, однако несчастная кобыла, чистокровное украшение конюшни Соллей, не могла сравниться выносливостью с одержимым надеждой Луаром. Лошадь нуждалась в еде и уходе, лошадь не переносила мороза – а в пути Солля настиг мороз, неожиданный в эту пору. Дороги опустели, волки сбились в стаи, а лесные разбойники потянулись к жилью; только безумцы путешествуют в такое время – но Луар не чувствовал себя безумцем.

Впервые за много дней он знал, чего хочет. Если выехать завтра до рассвета и хорошенько постараться, то к вечеру, может быть...

Он опустил воспаленные веки. Перед глазами тут же возникла дорога – замерзшая, с кло-чьями ржавой травы по обочинам, со стаями ворон, кружащихся в воздухе, как хлопья копти; всякий раз, засыпая на жестком гостиничном тюфяке, он снова трясся в седле и высматривал покосившиеся дорожные указатели...

Иногда он вспоминал то, что осталось за спиной – конечно, не мать. Мать у него не было сил вспоминать, не хватало мужества; он вспоминал повозку на ветру, домик на колесах и с холщовыми стенами, оплывающую свечку, блестящие черные глаза, обрывки странного сна... Тот разговор был, он подарил Луару истовую надежду, а сам полустерся в памяти. Разговор был – но вот не приснилось ли все, что было потом?

...Напротив пьянствовала компания из трех крепких лохматых бородачей. Старуха с раздвоенным подбородком нехотя цедила что-то из кружки; Луар повел плечами, только сейчас почувствовав некую брезгливость и неудобство от этого дымного, шумного, непривычного места.

Завтра, сказал он себе. Больше ни одной ночевки... Завтра он увидит отца. Завтра вечером... Уже завтра.

Неслышно подошел трактирщик – справиться, а не нужна ли юноше комната на ночь. Луар выложил названную трактирщиком сумму – и тут только заметил, что кошелек опустел, только побрякивали на дне две медные монетки. Ничего, сказал себе Луар. Завтра...

Трактирщик поклонился; Луар спрятал кошелек и устало опустил голову на руки. Спать... Интересно, а если то, что приснилось в ту ночь, было правдой, то почему он так равнодушен? Такая малость после всего, что с ним случилась... первая ночь, проведенная с женщиной... Но ведь так не должно быть. Может быть, он, Луар, не такой, как прочие мужчины?

В другое время подобная мысль повергла бы его в ужас – теперь же он просто смотрел, как трется о ноги посетителей облезлая рыжая кошка, и устало думал, что вот сейчас подняться на второй этаж и спать, спать...

– Парень!

Он вздрогнул. Прямо перед ним сидела старуха с раздвоенным подбородком.

– Парень... Что ж ты... Он же с тебя вдвое содрал!

Луар смотрел, не понимая.

– Вдвое больше содрал против обычного... Тайша, трактирщик... Обманул тебя, как маленького, а ты и не пикнул...

Луар качнул головой и попробовал улыбнуться. Старухины слова казались ему далекими, как луна, и обращенными к кому-то другому.

– Эх... – старуха сморщилась, будто сожалея. окинула Луара внимательным, сочувственным взглядом. Огляделась. Прошипела сквозь зубы:

– Ты... Бородатых видишь? Они тебя... приметили. Сладкая добыча парень, один, оде-жонка хорошая, и заплатил, не торгуясь... Богатый, стало быть, парень. Ты вот завтра поедешь, а они тебя в лесочке-то и встретят... Коня, кошелек, тряпки – все себе заберут... Старший у них, Совой прозывают, тот волков прикармливать любит... Голенького к дереву привяжут – прими, мол, подарочек, Матушка-Волчица... Ты, парень, не надо ехать, обоза большого дождись... Только какой обоз в холода такие...

Луар слушал отстраненно; внутри него копошились сложные чувства, главным из кото-рых было глухое раздражение. Завтра он должен быть в Каваррене; завтра у него встреча с отцом, что она плетет, какие разбойники, какой обоз...

Он поднял голову. Те, напротив, искоса посверкивали наглыми, насмешливыми, холод-ными взглядами.

Тогда поверх раздражения его захлестнула ярость. Эти сытые, озверевшие от безнаказанности провинциальные разбойники смеют становиться на его пути к отцу – именно сейчас, когда до Каваррена остался день пути! И он должен выждать и прятаться – он, потомок Эгерта Солля, героя осады?!

Громыхнув стулом, он встал. Что-то предостерегающе проскрипела старуха; Луар двинулся через обеденный зал, на ходу вытаскивая из-за пояса опустевший кошелек.

Бородачи удивленно примолкли; Луар подошел вплотную, остановился перед самым мощным и нахальным на вид, вперился, не мигая, в круглые, коричневые в крапинку глаза:

– Ты – Сова?

Бородач потерял дар речи. За соседними столиками замолчали.

– Я спрашиваю, – холодно процедил Луар, – ты – Сова?!

– Э... Ты, это... – один из сотоварищей круглоглазого хотел, по-видимому, ответить, но не нашел подходящих слов.

– Ну? – спросил, наконец, Сова.

Луар шлепнул на стол перед ним тощий кошелек с двумя медными монетками:

– На. Жри. Только... – он подался вперед, упершись в стол костяшками пальцев, – только однажды мой отец...

Перед глазами у него невесть откуда возникло воспоминание детства – осада, мать уводит его от чего-то волнующего и страшного, куда так и бежит голодный злой народ, и слышна барабанная дробь, и над низкой крышей дрожат натянутые, как струны, черные веревки... Вешают, вешают...

В глазах Луара потемнело, а когда тьма разошлась наконец, Сова сидел перед ним насупленный и хмурый, и непривычно белыми казались лица его спутников.

– Я сказал, – обронил Луар. Отвернулся, в полной тишине поднялся в свою комнату, упал на постель и проспал до петухов.

Никто его не преследовал.

* * *

Я еле отвязалась от этой дурочки – служанки Даллы. Луар наотрез отказался показываться дома – несмотря на все Даллины заверения, что «если не хотите, госпожа и не увидит». Тем не менее ему нужны были лошадь, деньги, дорожная одежда; мне пришлось вступить в переговоры с Даллой, а ей позарез хотелось знать, что же случилось в семействе Соллей. Небо, если бы я могла ответить!..

Луар не снизошел до сколько-нибудь теплого прощания. Мне хотелось, закусив губу, съездить ему по физиономии – и это после всего, что было ночью!

Я не знала, радоваться мне или проклинать случай, забросивший высокородного девственника, домашнего мальчика Луара Солля в мою постель на жестком сундуке. До этой ночи жизнь моя была если не размеренной, то в какой-то степени упорядоченной, а любовный опыт если не богатым, то по крайней мере красноречивым; я искренне считала, что персонажи фарсов, наставляющие друг друга рога, поступают так исключительно по воле автора, желающего рассмешить публику, а неземная любовь до гроба – такая же выдумка, как все эти Розы, Оллали и единороги. Гезина всякий раз закатывала глаза, рассказывая о своих любовных похождениях – но ведь на то она Гезина, то есть дура, каких мало!

Луар уехал сразу же, как был готов; он вполне вежливо поблагодарил меня за кров и за участие – и только! Кажется, он плохо помнил все, что происходило ночью; он был одержим моей же идеей – увидеть отца, а все остальное в этом мире делилось на сопутствующее либо препятствующее этому предприятию. Я провожала его квартала два – и по мере затянувшихся проводов из сподвижника превращалась в препятствие.

Мне хотелось погладить его по щеке. У меня даже ладонь взмокла так хотелось погладить его, но, глядя на враз отстранившееся, сосредоточенное лицо, я прекрасно понимала всю глупость этого желания.

Там, в повозке, он был совершенно другим. Небо, как я испугалась, первый раз угодив в это невыносимое чувство! Мы вдруг поменялись ролями – робкой ученицей сделалась многоопытная я, а девственник, поначалу растерянный, в какой-то момент обрел уверенность, силу – и, повинаясь голосу крови, увлек меня в области, о которых я и понятия не имела, и не верила, что так бывает... Будто шел-шел человек проверенным, давно знакомым мостиком – и вдруг доски разверзлись у него под ногами, и он свалился в теплую воду, которая, как известно, ничего общего не имеет с сухими деревяшками моста...

Почему? Почему именно он?! Мне случалось любезничать с опытнейшими обольстителями, тончайшими знатоками женских душ и тел – и в угоду им я старательно изображала то самое, что теперь самым скандальным образом приключилось со мной в первый раз...

Луар ничего не понял. Он решил, что так и надо; где-то там в глубинах сознания у него отпечатались мои же глупые слова про «все просто», «картошку и шпинат». От мысли, что такое сокровенное для меня действие Луару, возможно, показалось «шпинатом», мне хотелось грызть локти.

Страдая и злясь, я шла рядом с его стременем; наконец он нахмурился и сказал, что теперь он поедет быстро. До Каваррена неблизкий путь...

Тут я впервые подумала про подступающие холода, про волков, про ночных грабителей... И что будет, если я вижу его в последний раз.

– Прощай, – сказал он. – Спасибо... Думаю, все будет, как ты сказала.

– Возвращайся скорей, – сказала я, глядя на медную звездочку, украшение уздечки.

– Да, – сказал он и пришпорил лошадь. Мог бы и не пришпоривать, – до Каваррена неблизкий путь... А запасной лошади нет...

Я так и осталась стоять столбом посреди улицы.

* * *

За неполную неделю пути благородное животное под Луаром выдохлось и уподобилось жалкой кляче; постоянно понукая и пришпоривая, Луар вслух уговаривал кобылу потерпеть – скоро, скоро, там будет отдых и сколько угодно вкусной еды, сегодня вечером, ну же...

Солнце склонилось к горизонту раньше, чем он ожидал; невыносимо красный закат обещал назавтра холод и ветер. В полном одиночестве Луар углубился в лес – и на перекрестке двух узких дорог повстречался с развеселой кавалькадой.

Всадников было четверо; все они были слегка навеселе, и не зря отправиться в путь их заставило событие – рождение в городе Каваррене младенца, который приходился племянником всем четверым. Пропутешествовав весь день, они, как и Луар, рассчитывали попасть в Каваррен еще до темноты; Луар застал новоявленных дядюшек в тот самый момент, когда один из них, шуплый и горластый весельчак, убедил прочих довериться ему и отправиться «короткой дорогой».

Луару обрадовались и позвали с собой; солнце упало за горизонт, сразу сделалось невыносимо холодно – однако разгоряченная вином компания не унывала, торопясь вслед за шуплым проводником. Луар ехал сбоку ему очень понравилась мысль о короткой дороге. Чем короче, тем лучше.

Вскоре лес превратился в редкую рощицу, проводник радостно воздел руки – и четверо дядюшек, а с ними и Луар, выехали на берег вполне широкой речки; лед матово поблескивал под сиреневым сумеречным небом. Моста не было.

Дядюшки сгрудились в кучу; проводник путано объяснял, что так они срезают половину пути – до моста, мол, не один час езды... Всадники спешили, под уздцы свели лошадей к воде – и тут среди дядюшек случился скандал.

Лед казался прочным у берега и обманчиво-сахарным к середине; кто-то наиболее смелый прошелся по ледяной кромке взад-вперед – и авторитетно заявил шуплому весельчаку, что тот дурак и скотина, потому что такой лед не выдержит не то что всадника – пешехода. Какой, гнилая жаба, «короткий путь» – сейчас придется берегом переться к мосту, а вот уже темнеет, и вместо праздничного ужина угодим мы волкам на обед...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.